



НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ

И. А. ПАНКЕЕВ БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ



И.А. ПАНКЕЕВ

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ



БИОГРАФИЯ
ПИСАТЕЛЯ

Москва
«Просвещение»
1995

Серия «Биография писателя» основана в 1961 году

Оформление *А. А. Митрофанова*

Подбор иллюстраций на вклейке *И. А. Панкеева*

Панкеев И. А.

П16

Николай Гумилёв.— М.: Просвещение, 1995.—160 с.;
ил. — (Биогр. писателя).— ISBN 5-09-007311-2.

В книге рассказывается о жизни и творчестве большого русского поэта Николая Степановича Гумилёва (1886—1921), одного из ведущих представителей Серебряного Века русской литературы.

Гумилёв строил свою жизнь в соответствии с собственным идеалом — поэта-рыцаря, путешественника, воина, человека волевого и мужественного. Он странствовал по Африке, в годы Первой мировой войны защищал Отечество, создал новое литературное направление — акмеизм, был главой ряда литературных обществ, много сделал для защиты русской культуры в послереволюционные годы — и погиб на взлете, полный творческих замыслов и планов. Обо всем этом рассказывает И. А. Панкеев в своей книге.

П 4306020000—288 уточн. пл. 1995г., № 80
103(03)—95

ББК 83.3Р1

ISBN 5-09-007311-2

© Панкеев И. А., 1995

Глава первая

КОРНИ

И совсем не в мире мы, а где-то
На задворках мира среди теней.
Сонно перелистывает лето
Синие страницы ясных дней.
Маятник, старательный и грубый,
Времени непризнанный жених,
Заговорщикам-секундам рубит
Головы хорошенькие их.



Городу — история, человеку —
судьба.

Порою биографии городов и судьбы целых стран зависят от поступков людей. Но это — в эпохи бурь и потрясений. Обыденная жизнь неприметнее и проще, и потому событие, очень важное в личной жизни одного человека, чаще всего может остаться лишь маленьким узелком на непрестанно ткущемся полотне города.

Одним из таких «узелков», давно затерявшихся во времени, для Кронштадта было появление в нем в 1876 году новой семьи, которую создали почтенный уже, сорокапятилетний корабельный врач Степан Яковлевич Гумилёв и двадцатидвухлетняя обаятельная сестра адмирала Л. И. Львова, Анна Ивановна. Для полюбивших друг друга людей не стали помехой ни более чем двадцатилетняя разница в возрасте, ни дочь Алек-

сандра, оставшаяся на руках Степана Яковлевича после смерти первой его жены, А. М. Некрасовой.

Волею судеб Степан Яковлевич и Анна Ивановна сплели в одну две ветви интересных генеалогических деревьев: с его стороны — духовную, церковную, с ее — дворянскую, княжескую. Два генеалогических ручья слились воедино, чтобы спустя годы явить свою неразрывность в детях — старшем, Димитрии, и младшем, Николае. Младшему сыну суждено было прославить свой род как поэту, путешественнику, воину.

Фамилия Гумилёвых, вероятнее всего, происходит от латинского слова *humilis*, что значит: смиренный. Предположение это имеет под собою то основание, что дед будущего поэта, Яков Степанович, уроженец Рязанской губернии, служил дьяконом в селе Желудёво Спасского уезда. В этом же селе родился и отец будущего поэта, Степан Яковлевич, — он был младшим, шестым ребенком в семье.

Понятное дело, глава столь многочисленного семейства стремился, пока жив, поставить детей на ноги, а потому и настаивал, чтобы они шли уже проверенным, проторённым им самим путем. Дочерей он выдал замуж за священнослужителей. Старший сын, Александр, окончил Рязанскую семинарию, в которой затем стал преподавать. В ту же семинарию был отдан и младший сын, Степан. Более того, ему было уже подготовлено и место — отцовский приход в Желудёво.

В учении Степан был прилежен, но в восемнадцать лет объявил, что духовное поприще не привлекает его настолько, чтобы связать с ним всю жизнь. В свою очередь отец не давал своего согласия на поступление сына в светское учебное заведение, откровенно предупреждая, что в случае послушания помогать деньгами не станет. Можно только догадываться о том, какие страсти бурлили в это время в семье и какими разговорами были заняты дни и вечера, но факт остается фактом: зная о несогласии отца и о том, чем грозит ему неповиновение, юноша делает все же по-своему и поступает в Московский университет, на медицинский факультет.

Поскольку материальной помощи действительно ждать было неоткуда, Степан Яковлевич стал государственным стипендиатом, что означало обязательную, после окончания учебы, службу в указанном месте. По свидетельствам современников, он дополнительно подрабатывал репетитором и умудрялся отправлять небольшие суммы матери. В 1861 году университетский курс обучения был завершен и медик С. Я. Гумилев получил назначение морским врачом в знаменитую морскую крепость Кронштадт.

Эта черта характера — упорство, сопряженное с трудолюбием, — видимо, по наследству досталась и сыну Николаю, который жил вопреки всякому смирению, с раннего детства «делая себя» самостоятельно и потому признавая над собою только собственный суд.

Немало хороших черт — выдержанность, уравновешенность — перешло к детям и от матери, представительницы одной из старых дворянских фамилий, род свой ведущей от князя Милюка, оставившего в наследство потомкам свое имение Слепнёво в Бежецком уезде Тверской губернии. В этом родовом гнезде провела детство и юность и Анна Ивановна, чей прадед, И. Я. Милюков, сражался под Очаковым, а дед, Я. А. Викторов, — под Аустерлицем.

Вот — корни дерева, на одной из ветвей которого распустился яркий, издалека заметный цветок — поэт Николай Гумилев.

И если кратковременное пребывание молодой супружеской четы Гумилевых в Кронштадте особо не отразилось на истории морской крепости, то небольшое имение Слепнёво стало знаменито тем, что в нем жили два замечательных поэта: Николай Степанович Гумилёв и жена его, Анна Андреевна Ахматова.

Да, городу — история, человеку — судьба. Но иногда судьбы людей как раз и остаются самыми яркими страницами в истории городов. Одна из таких судеб и станет героиней этой книги. Именно — *Судьба*, которая больше самого человека. Ибо и поэт всегда больше своей биографии: он — самостоятельный мир, счастье и трагедии, гармония и разлады которого будут доходить к потомкам и спустя десятилетия, как доходит к нам из глубин бездонной Вселенной свет давно погибших звезд. И только Судьба, только она одна больше поэта, потому что может быть и посмертной.

В России больше муз рано осиротевших, чем бряцающих на лирах. Среди них, рано осиротевших, — и муза русского поэта Николая Гумилева, чье имя более полувека было под запретом, но чьи стихи проникали из одного десятилетия в другое — через колючие проволоки, сквозь глухое молчание. Проникали, в очередной раз доказывая миру, что Судьба больше поэта; что можно убить творца, но не память о нем.

Никому не дано сказать о поэте больше, чем делает это сам он в своих стихах. Лишь потомки, люди другого времени, имеют возможность разглядеть нечто, о чем поэт не знал, как зачастую не знаем мы при жизни об истинном отношении окружающих к нам.

Говорят, что поэт — это человек, ушибленный звездой. Давайте посмотримся в жизненный и творческий путь человека,

считавшего звание поэта самым высоким званием и погибшего не от упавшей с неба звезды, а от тупого, равнодушного куска свинца. Душа его по сей день — а теперь, может, еще пристальнее, чем раньше, — вглядывается в наши души и умы: помним ли ту трагедию? поняли ль ее причины? осознали ль их? не допустим ли повторения?

Глава вторая

ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!



Родился Николай Степанович Гумилев 3 (15) апреля 1886 года в Кронштадте. В ту ночь и дом на Екатерининской улице, и вся морская крепость выдерживали натиск бури. Бушевал шторм. Когда мальчик появился на свет, старая нянька сказала: «Бурная у него будет жизнь!» Как показало время, она не ошиблась в своем прорицании. В самом деле, коли даже расположение далеких звезд, по уверениям астрологов, предопределяет черты характера и череду событий в жизни человека, то стоит ли отказывать в этом родной земной природе?

Конечно, это предсказание мы наполняем особым смыслом лишь теперь, когда уже известна реальная жизнь Николая Гумилева, когда понимаем, что поколение, перед которым возник рубикон 1917 года, обречено было на непокой. Впрочем, все это еще впереди, а пока...

Пока — дом Григорьевой в Кронштадте, и в этом доме — радостное возбуждение, в котором растворилось даже то, что Анна Ивановна, родившая уже одного сына, мечтала о дочке и даже приданое приготовила в розовых тонах. Спустя двенад-

цать дней в том же доме на Екатерининской улице было совершено и крещение. Младенца нарекли Николаем. Крёстным отцом стал дядя, Л. И. Львов, а крёстной матерью — старшая сестра, А. С. Сверчкова.

Однако жить в Кронштадте Гумилевым оставалось недолго. Вскоре Степан Яковлевич вышел в отставку — с мундиром и пенсионом (одновременно его произвели в статские советники), и начались сборы для переезда в Царское Село, где заранее был присмотрен и куплен уютный двухэтажный дом с садом на Московской улице. Выбор нового места жительства не в последнюю очередь строился на близости Царского Села к столице и на том, что дети здесь смогут получить хорошее образование.

Все свое внимание и все средства Степан Яковлевич и Анна Ивановна уделяли сыновьям. Едва ли можно это считать культом детей в семье — скорее, естественной заботой об их здоровье и воспитании. Влияние матери на Димитрия и Николая было очень сильным. Они ее любили, уважали, но одновременно и опасались чем-либо обидеть. Братья охотно слушали рассказы отца о морских путешествиях, совершенных за годы службы, о разнообразных приключениях. Это будоражило детские души. Но все же наиболее привязаны они были к матери, которая проводила с ними много времени, читая вслух сказки, исторические книги, библейские легенды, особенно запавшие в память Николая. Часто она ходила с детьми в церковь.

Димитрий был старше Николая всего на полтора года, и потому многому они обучались совместно. Наблюдая за занятиями старшего брата, младший в пять лет выучился читать, а затем и писать. И вскоре стал даже сочинять стихи (которые мать хранила в особой шкатулке).

Родителей очень беспокоило слабое здоровье Николая, непрерывные его головные боли. Поэтому мальчиков вывозили в купленную в 1890 году усадьбу Поповка — с прудом и парком; здесь долгое время проводились не только летние, но и зимние каникулы.

Несмотря на дружбу между братьями и на то, что Николай рос тихим, болезненным мальчиком, в играх он стремился всегда верховенствовать над Димитрием. Играли в индейцев — он объявлял себя вождем и требовал подчинения; в войну — командиром. И всегда находил возможность настоять на своем.

Семи лет, как и всем детям, Николаю надо было держать экзамен в подготовительный класс гимназии. Весною 1893 года такой экзамен был успешно сдан, но сильные головные

боли и быстрая утомляемость мешали нормальным занятиям, и родители забрали сына из Царскосельской гимназии, с тем чтобы продолжить его образование дома, по более вольному графику. Для этого был специально нанят студент Б. И. Газалов. На первом месте для юного ученика стояла география, дающая большой простор для фантазии: можно представить себя путешественником, открывателем новых земель. С географией могла соперничать только зоология. Эти два увлечения остались у Николая Степановича на всю жизнь. Вероятно, именно отсюда берет начало его любовь к путешествиям. Увы, на точные науки интереса не хватало.

Когда семья на время перебралась в Петербург, Николай сдал вступительные экзамены в гимназию директора Собственных учебных заведений Гуревича на Лиговке. Однако и здесь особых успехов не добился. Может, свободолюбивая натура не могла полностью вписаться в строгий официальный регламент; может, трудно было с одинаковым усердием штудировать математику и географию, латынь и Закон Божий. Гимназий в детстве и юности Николая Гумилева было несколько, но, по воспоминаниям одной из родственниц, более всего невзлюбил он именно гимназию Гуревича в Петербурге: «Будучи уже взрослым, он говорил, что одна эта Лиговская улица, где находилась гимназия, наводила на него бесконечную тоску. Все ему там не нравилось. И был очень рад, когда ему пришлось покинуть стены „нудной“ гимназии».

Особых переживаний из-за средних оценок ни сам Николай, ни члены семьи не испытывали. Этот момент достаточно тонко подметила В. К. Лукницкая, говоря о матери Н. Гумилева, Анне Ивановне: «Ее мало трогали гимназические неуспехи сына, она хотела, чтобы он понял одну важную мысль: наука много сделала для человека, но жалка та наука, которая захотела бы заменить собой святость веры».

Ребенок так устроен, что не может жить лишь в рамках одного, к тому же не им самим созданного, мира,— он непременно станет разгибать прутья условностей, непременно будет дополнять скучные реалии яркими фантазиями. Николай Гумилев в этом смысле не был исключением. Не находя приложения своим силам в стенах гимназии Гуревича, он увлекся чтением приключенческой литературы, играми в войны и заговоры, коллекционированием животных и птиц, за поведением которых внимательно наблюдал. Всем этим была заполнена городская жизнь юного гимназиста, но, конечно, ни в какое сравнение с нею не шла жизнь в усадьбе, где можно было ездить на лошадях, устраивать сражения в парке, кататься на лодке.

Вскоре, однако, с этим раздольем пришлось расстаться. Причина все та же, весьма уважительная и достойная сочувственного понимания, — здоровье. На сей раз, в 1900 году, заболел Димитрий — у него открылся туберкулез.

Остались позади три класса гимназии на Лиговке (светлое воспоминание о ней — разве что рукописный литературный журнал, в котором и Николай пробовал свое перо); пришлось расстаться и с усадьбой: Поповку продали. Сам будучи медиком, Степан Яковлевич понимал опасность заболевания и потому, следуя рекомендации врачей сменить климат, принял решение вывезти семью на Кавказ, в Тифлис.

Почти три года, прожитые в Тифлисе, стали значительным импульсом для эмоционального развития подростков. Сразу же после переезда братья поступили во вторую Тифлисскую гимназию (Николай — в четвертый класс). А это значит, впридачу к впечатлениям от путешествия, — и новые друзья, новые увлечения. В четырнадцать лет это достаточно важно. Но, видно, на роду у младшего Гумилева было написано невезение с учебными заведениями: через полгода Степан Яковлевич пришел к мысли, что выбранная гимназия не во всем хороша, и перевел сыновей в Первую мужскую гимназию, считавшуюся лучшей в Тифлисе. В ней Димитрий и Николай проучились до 1903 года.

Время, проведенное на Кавказе, было насыщено событиями и многое дало юному Николаю Гумилеву. Здесь он впервые влюбился. Здесь обрел временную самостоятельность, о которой давно мечтал: когда семья на лето уезжала в Берёзки — купленное отцом в Рязанской губернии имение, — он оставался один и мог насладиться свободой. Наконец, именно в этом городе 16-летний Николай Гумилев увидел свои стихи опубликованными. Это случилось 8 сентября 1902 года. В тот день даже строгий отец не сделал ему замечания за опоздание к обеду: «Тифлисский листок» со стихотворением «Я в лес бежал из городов...» обрадовал и его. Правда, в подпись вкралась досадная опечатка: вместо «Н» значилось «К. Гумилев», — но в сравнении с самим событием это было воспринято как сущий пустяк.

Спустя годы сам Гумилев и не вспомнит об этом стихотворении. Да и исследователи его творчества лишь вскользь упоминают о тех 28-ми строчках (и то лишь потому, что они — первые из опубликованного в печати). А между тем несколько наивное в своей искренности стихотворение помогает многое понять и в характере автора, и в его тогдашнем состоянии: он полон сомнений, мучительных раздумий над выбором пути, над тем, что есть идеал и что такое

ответственность перед собою и Богом за талант, за насилие над душою.

Тифлисский период принято считать даже не ученическим — доученическим, а стихи, написанные за те два года, — предельно подражательными. Вольно нам теперь сравнивать, ориентируясь на лучшие образцы поэзии начала века! А речь — о 16-летнем человеке, только начинающем познавать жизнь. Впрочем, оправдания тут ни к чему: стихи опубликованы, свою роль в самоутверждении автора они сыграли, а это само по себе немало.

Дождавшись окончания учебного года (Николай к тому времени закончил шестой класс и был переведен в седьмой), Гумилевы решили вернуться в Царское Село. В доме Полубояринова была снята квартира, а директору Николаевской Царскосельской гимназии И. Ф. Анненскому послано прошение о зачислении Николая Гумилева в это учебное заведение.

В Царское Село Николай вернулся автором целого альбома романтических стихотворений, которые тогда сам достаточно высоко ценил, посвящал и дарил знакомым девушкам, и именно здесь, в Царском Селе, впервые за долгие годы учебы, гимназия стала хоть сколь-либо привлекать Гумилева. Вернее, даже не сама по себе гимназия (учился он по-прежнему плохо и с неохотой), а директор ее, поэт Иннокентий Федорович Анненский, которому не случайно затем, спустя два года, будет подарен первый настоящий, типографским способом напечатанный, сборник стихов. Тот самый Анненский, памяти которого будут посвящены замечательные строки поистине благодарного ученика:

Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз, пленительных и странных,
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространство безымянных
Мечтаний — слабого меня.

Детство стремительно заканчивалось. Точнее, оно уже почти и закончилось к тому времени, застав гимназиста Гумилева в довольно неопределенном состоянии: с одной стороны — ученик седьмого класса, но с другой — идет уже восемнадцатый год жизни, а это что-нибудь да значит! Впрочем, сам-то он особой неопределенности не ощущал, ибо занят был главным — *делал себя*. Потом он напишет:

«Я всегда был снобом и эстетом. В четырнадцать лет я прочел „Портрет Дориана Грея” и вообразил себя лордом Генри. Я стал придавать огромное внимание внешности и считал себя некрасивым. Я мучился этим. Я действительно, наверное, был тогда некрасив — слишком худ и неуклюж. Черты моего лица еще не одухотворились — ведь они с годами приобретают выразительность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, красный цвет лица и прыщи. И губы очень бледные. Я по вечерам запирали дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо верил, что силой воли могу переделать свою внешность».

Дело, конечно, не во внешности, Бог с нею, а в этой вот уверенности, что всего можно добиться силой воли, *собственной* силой. Почти все, кто станет потом, спустя годы, писать о Гумилеве-поэте, Гумилеве-путешественнике, Гумилеве-воине, будут отмечать такие черты его характера, как твердость, надменность, очень уважительное отношение к себе. И уж почти никто не забудет описать его нескладную фигуру (в которой если что и привлекало, так это руки с длинными музыкальными пальцами), косящие глаза, один из которых смотрел несколько вбок, а другой — поверх собеседника; слишком удлиненный, как бы сжатый с боков череп. Однако точно так же почти никто не задаст себе вопроса: как же выросла при всем этом столь сильная, яркая личность? Ведь в юности при подобной внешности недолго приобрести комплекс неполноценности, впасть в угнетенность, в озлобленность.

Секрета нет: он делал себя, — и это достойно уважения, как любое значительное, многотрудное дело, которое, впрочем, состоит зачастую из бытовых мелочей и только в итоге, в завершенности, представляется значительным. Довольно болезненный в детстве, он вопреки физической слабости всегда претендовал на роль вождя — и был им. С детства застенчивый, всячески преодолевал и этот недостаток. Быть может, и стихи стал сочинять не в последнюю очередь из жажды славы: никто вокруг ничем не прославился, а его фамилия уже в газете напечатана, — значит, и в этом он выше других. Не случайно еще в пору детских игр в индейцев, когда роль вождя всегда брал себе Николай, в ответ на предупреждение «рядового индейца», старшего брата, что не все будут вот так безропотно подчиняться, прозвучало: «А я упорный, я заставлю».

А уж самовоспитание гордости и вовсе не знало границ, тем более — мелочей: это была памятливая гордость. В этой связи жена Димитрия Гумилева, Анна, вспоминала потом:

«Когда старшему брату было десять лет, а младшему восемь, старший брат вырос из своего пальто и мать решила переделать его Коле. Брат хотел подразнить Колю: пошел к нему в комнату и, бросив пальто, небрежно сказал: „На, возьми мои обноски!“ Возмущенный Коля сильно обиделся на брата, отбросил пальто, и никакие уговоры матери не смогли заставить Колю его носить.

Даже самых пустяшных обид Коля долго не мог и не хотел забывать. Прошло много лет. Мужу не понравился галстук, который я ему подарила, и он посоветовал мне предложить его Коле, который любит такой цвет. Я пошла к нему и чистосердечно рассказала, что галстук куплен был для мужа, но раз цвет ему не нравится, не хочет ли Коля его взять? Но Коля очень любезно, с улыбочкой мне ответил: „Спасибо, Аня, но я не люблю носить обноски брата”».

Здесь не обида, а вот именно — гордость. Подобных примеров достаточно много, для того чтобы понять неслучайность такой реакции, такой манеры поведения, такой подчеркиваемой памяти. Как и всегдашнего внешнего спокойствия, ибо считал недостойным мельтешить, выказывать волнение. Да, сомневался в своих познаниях, идя на экзамен, — но экзаменаторам не дано было видеть тех сомнений. Да, переживал перед дуэлью, — но кто знал о том? Да, с огромным трудом заставлял себя выйти на сцену и выступить перед аудиторией — той самой, которая поражалась его хладнокровию и уверенности в себе.

К моменту, когда в 1905 году в первой своей книге Гумилев публично зафиксировал кредо конквистадора, работа над внутренним образом вчерне почти завершилась. Для окружения она не всегда была явной, поэтому есть смысл сейчас вспомнить некоторые штрихи тех двух лет, некоторые события, при всей их внешней случайности и незначительности все же существенно повлиявшие на формирование характера.

Один из подобных штрихов — обучение именно в Царско-сельской гимназии. Дело, конечно, не в самом неказистом казенном доме, а в том, что дом этот находился в «городе муз», первойшая из которых — пушкинская. На выпускном экзамене на вопрос: «Чем замечательна поэзия Пушкина?» — Гумилев ответит: «Кристалльностью». Его не смутит ни хохот учителей, ни их снисходительность. Уже тогда он был уверен в том, к чему некоторые из его учителей придут лишь спустя десятилетия.

Один из бывших гимназистов, Димитрий Кленовский, который был младше Гумилева на шесть или семь классов,

приводит в своих воспоминаниях шокирующие подробности повседневной жизни учебного заведения:

«В грязных классах, за изрезанными партами галдели и безобразничали усатые лодыри, ухитрявшиеся просидеть в каждом классе по два года, а то и больше. Учителя были под стать своим питомцам. Пьяненьким приходил в класс и уютно похрапывал на кафедре отец дьякон. Хохлатой больной птицей хмурился из-под нависших седых бровей полусумасшедший учитель математики, Марьян Генрихович. Сам Анненский появлялся в коридорах раза два, три в неделю... Он выступал медленно и торжественно... никого не замечая... был окружен плотной, двигавшейся вместе с ним толпой гимназистов, любивших его за то, что с ним можно было совершенно не считаться. Стоял несусветный галдеж. Анненский не шел, а шествовал, медленно, с олимпийским спокойствием, с отсутствующим взглядом».

Существуют и другие, более корректные воспоминания о гимназии. Но суть одна: безусловно, Анненский был гораздо более силен и авторитетен как поэт, чем как организатор и директор.

Вероятно, с педагогической точки зрения царившие тогда в гимназии порядки подлежат осуждению. Но странное дело, кто бы ни говорил потом о ней — с непременной теплотой вспоминают именно Анненского, а не, к примеру, заменившего его после зимы 1905 года нового директора, Якова Георгиевича Моора. Хотя Моор за одно лето сумел придать гимназии совсем иной вид: все было выскоблено, вычищено, в классах красовались наглядные пособия, появились новые учителя.

«...Все это произвело на молодые души потрясающее впечатление. Все приумолкли, присмирели, стали прилежнее учиться... Если кто приходил в гимназию в неряшливом виде, Моор подзывал его к кафедре и, подняв палец, стыдил перед всем классом, повышая на каждом слове свой тоненький голосок: „И это есть ученик Императорской Николаевской Царской Гимназии!“ Его не любили, но боялись и слушались. Гимназия стала на хорошем счету. Появились в ней сыновья графа Гудовича, лейб-медика Боткина, свитских генералов», — свидетельствовал Д. Кленовский, в то же время делая интереснейший, не нуждающийся в особых комментариях вывод: «Казалось, „подметено“ было в стенах Царскосельской Гимназии так, что и пушинки прошлого не осталось. Но, странное дело, — ни Моор, ни педагоги, ни штукатуры, ни озонирующие воздух елочки не выветрили из этих стен духа той высокой поэзии, которая в них переночевала».

И дышит-то этот дух где захочет, и нематериален он, а вот на тебе — влияние его вполне материально, с самых пушкинских времен.

В стенах этой гимназии Гумилев писал стихи, иногда обнародуя их в рукописном журнале «Горизонт»; будучи гимназистом, выпустил и свою первую книгу, «Путь конквистадоров»; продолжались, несмотря на ворчание Моора, поэтические вечера: далеко не один только Гумилев занимался сочинительством в возвышавшемся на углу двух улиц доме.

В Царском Селе многие старались быть причастными к литературе, но среди этих многих лишь единицы давали себе труд если и не принять новые течения в словесности, то хотя бы понять их. Этим объясняются нападки царскосёлков на Гумилева и его стихи, сначала эпизодические, а затем — целенаправленные. Местная газета не упускала случая уколоть молодого поэта, не вписывающегося в общую картину. Даже на литературных «воскресеньях» в доме учителя гимназии А. Д. Коковцева, чей сын учился вместе с Гумилевым и тоже сочинял стихи, Гумилева не удостоивали похвал. А ведь, казалось бы, аудитория самая что ни на есть творческая, способная отличить поэзию от графомании: поэты К. Случевский, И. Анненский, публицист М. Меньшиков, литературовед В. Евгеньев-Максимов и другие.

Эти годы для юного Гумилева памяты встречей, которая скрасила неудачи и придала новый импульс творческим поискам: в конце 1903 года он познакомился с Анной Горенко, которая спустя годы тревожной любви станет его женою, а всему миру будет известна как поэтесса Анна Ахматова. О драматичном этом романе, в котором были и бурные объяснения, и долгие затишья, и попытки самоубийства, сказано пусть и осколочно, но все же достаточно много — в первую очередь, как это и заведено, мемуаристами, а затем уж и самой Анной Андреевной (в последние годы ее жизни). Но, естественно, сказано далеко не всё: у времени свои законы, и оно своею властью до поры не позволяет обнародовать некоторые подробности.

Впрочем, тогда, в декабре 1903 года, ни о каком романе и речи не могло быть. Во-первых, в семье Анны Андреевны царили достаточно суровые нравы: по вечерам ее не отпускали даже к родственникам, если там собиралось общество, — ни на «четверги» к Штейнам, ни на «понедельники» к Кривичам. А во-вторых, увлечение гимназистками было в ту пору модным и даже престижным для великовозрастных учеников мужской гимназии (Гумилев умудрился к тому же два года просидеть в

седьмом классе). Эрих Голлербах, тоже учившийся в те годы в Царском Селе, только в Реальном училище, вспоминает:

«Гумилев отличался от своих товарищей определенными литературными симпатиями, писал стихи, много читал. В остальном он поддерживал славные традиции лихих гимназистов — прежде всего, усердно ухаживал за барышнями. Живо представляю себе Гумилева, стоящего у подъезда Мариинской женской гимназии, откуда гурьбой выбегают в половине третьего розовощекие хохотушки, и „напевающего” своим особенным голосом: „Пойдемте в парк, погуляем, поболтаем”».

Вероятно, 24 декабря счастливая звезда сияла над Царским Селом: знакомство с Анной Горенко, состоявшееся в этот день, не стало для Гумилева всего лишь одним из многих. Подростки вместе ходили в театр, встречались у общих знакомых, на катке. Он стал посвящать ей стихи. А знакомство с братом Анны, Андреем, позволило Гумилеву бывать в доме Горенко — на правах приятеля Андрея, с которым, впрочем, и в самом деле завязались самые теплые и искренние отношения. Андрей был одним из немногих, кто понимал и принимал поэзию Гумилева. Не случайно даже в одну из поездок в Париж Гумилев пригласит с собой именно Андрея — как душу во многом родственную.

К отношениям Николая Степановича и Анны Андреевны мы будем возвращаться еще не раз, по мере того как они станут развиваться, пока же — гимназические годы. Желание выглядеть взрослым (усики, медлительная походка и манера говорить) уживалось в нем с детскостью, со свободой, присущей лишь тому возрасту, когда и ходится и дышится легко. Так, в новой квартире он тут же разукрасил стены своей комнаты цветными красками, превратив жилище в подводное царство — с рыбками, водорослями и русалками. Затем была попытка устроить дуэль с соучеником и т. д.

Многое здесь — от характера, органически не приемлющего психологию обитателя «золотой клетки» (мол, тепло, сытно, чего еще желать?), но многое — и из прочитанных к тому времени книг, героями которых были сильные, мужественные люди, искатели острых ощущений. Эрих Голлербах сумел заметить и эти корни, и эти противоречия в Гумилеве:

«Многие зачитываются в детстве Майн Ридом, Жюль Верном, Гюставом Эмаром, но почти никто не осуществляет впоследствии, в своей „взрослой жизни”, героического авантюризма, толкающего на опасные затеи, далекие экспедиции.

Он осуществил. Упрекали его в позерстве, в чудачестве. А ему просто всю жизнь было шестнадцать лет. Любовь, смерть и стихи. В шестнадцать лет мы знаем, что это прекраснее всего

на свете. Потом — забываем: дела, делишки, мелочи повседневной жизни убивают романтические „фантазии”. Забываем. Но он не забыл, не забывал всю жизнь... Он любил в жизни все красивое, жуткое, опасное, любил контрасты нежного и грубого, изысканного и простого... Он влекся к страшной красоте, к пленительной опасности. Героизм казался ему вершиной духовности. Он играл со смертью так же, как играл с любовью».

Все это так. Но наряду с романтическими мечтаниями о путешествиях и подвигах Гумилева не оставляли и мечтания о литературной будущности, а может быть, и о славе. Его творческая манера, интересы и пристрастия возникли, естественно, не на пустом месте: самым крупным зерном, упавшим на благодатную почву, был брюсовский журнал «Весы», который начал выходить в 1904 году и стал одним из любимейших периодических изданий Гумилева, его постоянным чтением.

Журнал «Весы» действительно имел немало достоинств, способных увлечь творческую личность, — от замечательного внешнего вида до насыщенности проблемами искусства. Валерий Брюсов, мечтавший об утверждении на российских просторах свободного, вольного искусства, намеренно избегал в «Весах» вопросов политики и всего, что не имеет прямого касательства к поэзии, музыке, живописи. В. Брюсов привлекал читающую публику не только новой эстетикой и широтой интересов (от оккультизма до манифестов русских символистов), но и громкими именами, будь то Оскар Уайлд или Ренэ Гиль. Тем более когда эта публика, подобно молодому Гумилеву, «сама обманываться рада».

С «Весами» и с Валерием Брюсовым в творчестве Гумилева будет связано очень многое: от ученического восторженного преклонения до отрицания — то есть почти весь путь становления и утверждения себя. Есть определенное светлое предзнаменование в том, что, избранный начинающим поэтом в наставники, Брюсов благосклонно согласился взять на себя эту роль и исполнял ее достаточно долго и добросовестно: одна лишь их переписка насчитывает несколько десятков писем, в которых разбирались и даже редактировались стихи, обсуждались те или иные проблемы, планы и т. д.

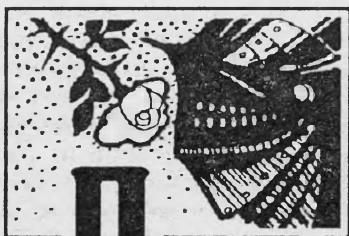
Когда в октябре 1905 года Николай Гумилев издал первую свою книгу — «Путь конквистадоров», — первым, кто откликнулся на ее выход в свет (почти сразу же, в ноябре), был Валерий Брюсов, опубликовавший свою рецензию в «Весах».

Что же это был за сборник, с одной стороны — привлекавший внимание маститого поэта, а с другой — даже самим автором впоследствии преданный забвению?

«ПУТЬ КОНКВИСТАДОРОВ» И ПОСЛЕ «ПУТИ»

Как конквистадор в панцире железном,
Я вышел в путь и весело иду,
То отдыхая в радостном саду,
То наклоняясь к пропастям и безднам.

Порою в небе смутном и беззвездном
Растет туман... но я смеюсь и жду,
И верю, как всегда, в мою звезду,
Я, конквистадор в панцире железном.



Первую свою книгу Николай Гумилев издал на деньги родителей, за год до окончания гимназии, когда ему исполнилось девятнадцать лет. Радость авторства вполне объяснима: одаривания сборником, надписи на экземплярах, ожидание реакции и т. д. Но, надо отдать должное молодому поэту, из этого факта он не стал делать события вселенского значения (хотя бы и для себя самого), а продолжал достаточно упорно работать.

«Путь конквистадоров» Гумилев впоследствии никогда не переиздавал полностью, давая понять, что и сам считает первую книгу пробой пера, уроком, подготовкой к творчеству, но не самим творчеством, достойным его, Гумилева, уровня. Только три стихотворения из всего сборника, да и то основательно переделанные, отшлифованные, можно даже сказать — огранённые, счел он возможным потом вернуть читателям. Однако и в них даже названия сменил: программное юношеское «Я конквистадор в панцире железном...» стало «Сонетом», «Сказка о королях» — «Балладой», «Грёза ночная и темная...» — «Оссианом».

Впрочем, надпись на одном из экземпляров говорит сама за себя:

Этот «Путь конквистадоров»,
Скопище стихов нестройных,
Недостойн Ваших взоров,
Слишком светлых и спокойных.

Да и потом, в 1912 году, выпустив в свет сборник «Чужое небо», уже четвертую свою книгу, Гумилев не случайно публично назовет ее *третьей*.

Однако что бы ни говорили и тогда и теперь об этом поэтическом опыте, он заслуживает внимания по нескольким причинам, и в первую очередь потому, что в сборнике выражена позиция входящего в литературу человека, присутствует (хотя и далеко не везде) свой, незасмный почерк, взгляд. Получился своего рода первый итог работы души на тот момент. Маска надменного конквистадора, явленная молодым поэтом в первой своей книге,— не мгновенное озарение, не случайный образ, не дань юношеским мечтаниям; она — своего рода символ. Конечно, и щит, и завеса, и панцирь. Но в первую очередь все же — символ, по которому безошибочно узнавался автор.

Эпиграфом ко всему сборнику послужила строка из «Земных яств» Андрэ Жида, тогда еще малоизвестного поэта, в котором Гумилевым безошибочно была угадана не только роднящая их тема «кочевничества», но и нечто большее — талант. А при случайном, беглом прочтении этого не заметишь.

Конечно, опытному внимательному глазу не составит труда увидеть в «Пути конквистадоров» то, что Глеб Струве охарактеризовал словом «несамостоятельность», пояснив: «Чувствуется сильное влияние тогдашнего поэтического кумира; Бальмонта (и отчасти, но в меньшей степени, Брюсова), а также отголоски разных модных в то время веяний, шедших к нам с Запада: тут и Ницше, и столь модные тогда скандинавские писатели, и отзвуки французского символизма, а может быть, и английских прерафаэлитов».

Но кто знает, не была ли эта «несамостоятельность» отчасти умышленной?

В отличие от занятий в гимназии, занятиям поэзией Гумилев отдавался с большим прилежанием и, торопя самого себя, сокращал период ученичества, стремясь сразу овладеть тем, что считал необходимым. И, может быть, «влияние», «незрелость» — это не что иное, как именно демонстрация накопленного, от стиля до техники, все то же гумилевское стремление доказать себе и другим: могу.

Но «Путь конквистадоров», конечно, не просто добросовестно выполненный урок, а и начавшее оформляться, очерчи-

ваться самостоятельное миропонимание. Будь по-другому, книжка, как и многие прочие, вышедшие тогда, прошла бы незамеченной. Однако же через месяц после ее выхода, в ноябрьском номере «Весов», появилась рецензия, написанная Валерием Брюсовым — известным поэтом, мэтром, вождем целого направления. И пусть он сказал, что книга — «только „путь” нового конквистадора» и что «его победы и завоевания впереди», пусть упрекнул в том, что «отдельные строфы... напоминают свои образцы — то Бальмонта, то Андрея Белого», но ведь отметил также и то, что в сборнике «есть и несколько прекрасных стихов, действительно удачных образов». Тем самым недостатки книги были как бы отодвинуты в тень; да и не столько, собственно, книгу имел в виду Брюсов, сколько ее автора, сумевшего воплотить в строках свой характер, не побоявшегося сказать открыто о своих мечтаниях.

Это было для Гумилева важным, и, с присущей ему памятью, он долгие годы хранил признательность своему открывателю. Сначала — как влюбленный, прилежный ученик; затем — как коллега и даже как оппонент.

Да, влияние на него Брюсова в первые годы творчества было огромным, что не раз еще найдет свое подтверждение. И когда в январе 1906 года С. В. Штейн напишет в рецензии, что «Путь конквистадоров» «выпущен юным автором слишком рано: он пестрит детскими страницами, сказывается отсутствие твердой и возмужалой мысли», это будет воспринято Гумилевым уже не столь болезненно, тем более что почти одновременно поступит и приглашение Брюсова сотрудничать в «Весках».

Все это происходило, когда Гумилев находился в стенах гимназии, — аттестат зрелости он получил уже двадцатилетним, в мае 1906 года. А еще до завершения официального курса обучения у него появится страстное желание поехать за границу, а именно — во Францию, в Париж.

В том, что ему так хотелось в Париж, просматривается не страсть к наукам (хотя Гумилев и поступил в Сорбонну), а в первую очередь его неумная страсть к путешествиям и любовь к поэтам-парнасцам, вообще к французской поэзии, впитанная молодым человеком еще с публикациями все тех же «Весов» («Письма о французской поэзии» Ренэ Гиля и др.).

Мир, которым довольствовались царскосёлы, был для Гумилева мал и бледен, душа требовала новых встреч, впечатлений и расстояний. В мае 1906 года он пишет Брюсову в Москву:

«3-го апреля мне исполнилось двадцать лет, и через две недели я получаю аттестат зрелости. Отец мой — отставной

моряк и в материальном отношении вполне обеспечен. Пишу я с двенадцати лет, но имею очень мало литературных знакомств, так что многие вещи остаются нечитанными за недостатком слушателей.

Летом я собираюсь ехать за границу и пробыть там пять лет. Но так как мне очень хочется повидаться с Вами, то я думаю недели через три поехать в Москву, где, может быть, Вы не откажете уделить мне несколько часов».

Наконец, 30 мая 1906 года, аттестат зрелости (№ 544) получен. Период собственно ученичества, к которому Гумилев не питал особой страсти, завершился, но уже шло иное ученичество — литературное, поэтическое, и оно увлекало Николая Степановича серьезно, не в пример былому. Стремление понять мастеров, их творческую лабораторию, жажда литературных знакомств, интерес к новым течениям в отечественной и зарубежной поэзии — все это стало теперь неотъемлемой частью его жизни. Париж виделся ему ступенью на пути к совершенству и славе; казалось, что само это слово — *Париж* — переполнено искусством. Есть ли в мире сила, способная быть сильнее, созидательней и разрушительней, чем мечта? Она все считает на своем пути, она обманывает, чтобы снова возродить надежду из пепла. Гумилев никогда не противился своим мечтам, он воплощал их в жизнь. И потому в июле 1906 года отправился во Францию.

Александр Биск, вспоминая Париж этого времени, писал: «1906-й и последующие годы были эпохой похмелья после вспышки 1905-го года, но в Париже еще царил революционное настроение. Минский читал на русских вечерах стихотворение, которое начиналось: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь“. Я был совершенно вне политики, но, ввиду того что моя сестра была эсэшкой, я читал сочиненное мной бравурное стихотворение „В борьбе обретаешь ты право свое“. Но были и другие вечера, более консервативные. На одном из них одна высокопоставленная дама читала „стихи поэта Гумилева“, где, помню, рифмовались „кольца“ и „колокольца“. Гумилев только недавно начал писать».

Другими словами, Гумилева как поэта не знали. Политика же его вовсе не интересовала. Отъезд из России сделал и без того не слишком широкий круг его литературных знакомств еще более узким. Выручали молодость, которой свойственны увлечения отнюдь не только литературного плана, переписка с Брюсовым и самостоятельная работа — чтение, изучение французской поэзии. Хотя сомнения в себе, в своем таланте остаются, Гумилев никому о них не говорит. Он не отступает от мысли, что человек может сделать себя сам. Даже — поэтом.

Даже — знаменитым поэтом. К творчеству он в эти годы относился как к работе, к ремеслу, в котором есть мастера и подмастерья — в зависимости от владения приемами, техникой. И несмотря на то, что он усиленно ищет «границу, где кончаются опыты и начинается творчество», все же в этот период именно опытам отдает больше всего времени и сил, изучает законы стихосложения. Об этом свидетельствует переписка с Брюсовым, в частности такое письмо: «...моя лень шептала мне, что неточность рифмы дает новые утончённые намеки и сочетания мыслей. Но потом наступил перелом. Последующие мои стихи, написанные с безукоризненными рифмами, доставили мне больше наслаждения, чем вся моя предшествующая поэзия. Мало того, я начал упиваться новыми, но безукоризненными рифмами и понял, что источник их неистощим».

И в этом же письме — достаточно интересная подробность личного плана: «Вы были так добры, что сами предложили свести меня с Вашими парижскими знакомыми. Это будет для меня необыкновенным счастьем, так как я оказался несчастлив в здешних моих знакомствах». Да, Брюсов, теперь уже явно взяв шефство над юным подопечным, не только помогал ему литературными консультациями, но и старался уберечь от некоторых ошибок, поспешных шагов (так, не рекомендовал сотрудничать с газетой «Столичное утро»). Не без советов и помощи наставника написано и опубликовано немало стихотворений (в «Весах», «Северной речи», «Литературном понедельнике», в газете «Русь»).

И все-таки Гумилев страдает от творческого одиночества — он жаждет живого общения. Встречи в русском клубе, выставки русских художников и прочее его не могут удовлетворить полностью, тем более что в это время в Париже жил сам Бальмонт.

Почему — «сам»? Об этом красноречиво сказал в очерке «Русский Париж» А. Биск, приехавший, как и Гумилев, в 1906 году:

«Нынешнее поколение и представить себе не может, чем был Бальмонт для тогдашней молодежи. Блок был новичком... Брюсов еще не был признанным мэтром; все остальные поэты — Андрей Белый, Сологуб, Мережковский, Гиппиус, Вячеслав Иванов — считались второстепенными. Безраздельно царил Бальмонт. Правда, „Будем как Солнце“ было уже позади, начинался медленный спуск с вершины, но обаяние Бальмонта было еще в полной силе... Бальмонт был первый, кого я посетил в Париже, поэтому я спросил его, где собираются русские поэты... Он послал меня к Елизавете Сергеевне

Кругликовой. Это была известная художница, у которой был прием по четвергам... Когда появлялся новый гость, Кругликова, назвавши его, представляла присутствующих: сначала громким отчетливым голосом: Бальмонт, Минский, Волошин, Плехановы,— а затем уже менее внятно: Биск, Смирнов и прочая молодежь».

Позднее бывал в салоне Елизаветы Сергеевны и Гумилев, но поначалу, подобно молодому Александру Биску, он хотел сам нанести визит «королю поэтов». Однако на посланное письмо никакого ответа от Бальмонта не получил, что ранило его самолюбие: «Знаменитый поэт, который даже не считает нужным ответить начинающему поэту, сильно упал в моем мнении как человек».

Но еще более ранила его самолюбие встреча с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус. И если к Бальмонту было все же сохранено почтительное отношение как к поэту, то Зинаиде Гиппиус и Дмитрию Мережковскому Гумилев никогда не простил их издевательского, злого приема. Тем более что пришел он по рекомендации Брюсова. Не в его привычках, тогда уже окончательно сформировавшихся, было прощать и свидетелей своего унижения; не потому, что они — свидетели, а потому, что, смолчав и молчанием своим позволив свершиться бестактности, они становились соучастниками. Увы, в этой печальной роли выступил Андрей Белый; и в последующих своих критических выступлениях Гумилев давал почувствовать Белому, что парижский случай не забыт.

Впрочем, лучше дать слово самим участникам той истории, хотя бы — Андрею Белому:

«Однажды сидели за чаем: я, Гиппиус; резкий звонок; я — в переднюю — двери открыты: бледный юноша, с глазами гуся, рот полуоткрыв, вздернув носик, в цилиндре — шарк — в дверь.

— Вам кого?

— Вы... — дрожал с перепугу он,— Белый?

— Да!

— Вас,— он глазами тусклил,— я узнал.

— Вам — к кому?

— К Мережковскому,— с гордостью бросил он, с вызовом даже.

Явилась тут Гиппиус; стащив цилиндр, он отчетливо шаркнул; и тускло, немного гнусаво, сказал:

— Гумилев.

— А — Вам что?

— Я...— он мямлил.— Меня... Мне письмо... Дал Вам,— он спотыкался; и с силою вытолкнул: — Брюсов.

Цилиндр, зажимаемый черной перчаткой под бритым его подбородком, дрожал от волнения.

— Что Вы?

— Поэт из „Весов”.

Это вышло совсем не умно.

— Боря — слышали? (Борис Бугаев — настоящее имя Андрея Белого. — *И. П.*)

Тут я замялся; признаться — не слышал; позднее оказалось, что Брюсов стихи его принял и с ним в переписку вступил уже после того, как Москву я покинул; „шлеп”, „шлеп” — шарки туфель: влетел Мережковский в переднюю, выпучась:

— Вы не по адресу... Мы тут стихами не интересуемся... Дело пустое — стихи.

— Почему? — с твердой тупостью непонимания выпалил юноша: в грязь не ударил. — Ведь великолепно у Вас самих сказано! — И, ударяясь в азарт, процитировал строчки, которые Мережковскому того времени — фи́га под нос; этот дерзкий, безусый, безбрадый малец начинал занимать:

— Вы напрасно: возможности есть и у Вас, — он старался: попал-таки!

Гиппиус бросила:

— Сами-то Вы о чем пишете? Ну? О козлах, что ли?

Мог бы ответить ей:

— О попугаях!

Дразнила беднягу, который преглупо стоял перед нею; впервые попавши в „Весы”, шел от чистого сердца — к поэтам же; в стриженной бобриком узкой головке, в волосиках русых, бесцветных, в едва шепелявящем голосе кто бы узнал скоро крупного мастера, опытного педагога? Тут Гиппиус, взглядом меня приглашая потешиться „козлищем”, посланным ей, показала лорнеткой на дверь:

— Уж идите.

Супруг ее, охнув, — „К чему это, Зина” — пустился отшлепывать туфлями в свой кабинет.

Николаю Степановичу, вероятно, запомнился вечер тот; все же, — он поводы подал к насмешке; ну, как это можно, усевшись сонным таким судаком, — равнодушно и мерно патетикой жарить; казался неискренним — от простодушия; каюсь, и я в издевательства Гиппиус внес свою лепту: ну как не смеяться, когда он цитировал — мерно и важно:

— Уж бездна оскалилась пастью.

Сидел на диванчике, сжавши руками цилиндр, точно палка прямой, глядя в стену и соображая: смеются над ним или нет; вдруг он, сообразив, подтянулся: цилиндр церемонно

прижав, суховато простился; и — вышел, запомнив в годах эту встречу».

Еще бы ее не запомнить! Тем более — ему, самолюбивому, который в первой же книге, в «Пути конквистадоров», заявил:

И если нет полдневных слов звездам,
Тогда я сам мечту свою создам
И песней битв любовно зачарую.

Я пропасть и бурям вечный брат,
Но я вплету в воинственный наряд
Звезду долин, лилею голубую.

Ему — напечатавшему «Песню о певце и короле», «Песню Дриады», «Пророков», «Иногда я бываю печален...», «Пять могучих коней мне дарил Люцифер...» и десятки прочих стихотворений.

Нанесённой ученику, а значит, косвенно и учителю, обиды не простил и Брюсов. Тем более что полученное им из Парижа, от З. Н. Гиппиус, письмо было просто отвратительным в своей беспардонности и истеричности: «О Валерий Яковлевич! Какая ведьма „сопряла“ Вас с ним? Да видели ли Вы его? Мы прямо пали. Боря имел силы издеваться над ним, а я была поражена параличом. Двадцать лет... сентенции старые, как шляпка вдовицы, едущей на Драгомиловское... Я нашла номер „Весов“ с его стихами, желая хоть гениальностью его строк оправдать Ваше влечение, и не могла. Неоспоримая дрянь. Даже теперь, когда так легко и многие пишут стихи,— выдающаяся дрянь. Чем, о, чем он Вас пленил?»

К счастью, первые месяцы пребывания молодого Гумилева в Париже «дарили» ему не только подобные встречи. Не зря уже в ноябре 1906 года Николай Степанович приходит к выводу, что Париж дал ему «осознание глубины и серьезности самых мелких вещей, самых коротких настроений». Современники отмечали, что Гумилеву хотелось испытать и узнать если не все, то многое. Может быть, именно этим объясняется и его увлечение оккультизмом. Но главным делом, конечно, остается литература и все, что с нею связано. Так, когда на Дягилевской выставке Николай Степанович познакомился с художниками М. Фармаковским и А. Божеряновым, возник вопрос об издании собственного русского журнала в Париже. У Гумилева денег для осуществления такого замысла не было, их дал А. Божерянов. Привлекли молодых художников, и началась увлеченнейшая работа над первым номером «двухнедельного журнала искусства и литературы», который решено было назвать «Сириусом». В результате новый, 1907 год для

Николая Гумилева начался с нового дела — вышел первый номер журнала, основанного им, молодым поэтом. Работа целой группы художников — Данишевского, Божерянова, Фармаковского и других — положительно сказалась на оформлении журнала. Содержание же январского номера было менее разнообразным: большая часть опубликованных произведений принадлежала перу Гумилева, скрывающего авторство за псевдонимами «Анатолий Грант», «К-о», «К...» и другими.

В том же году, 13 марта, Анна Горенко (тогда еще не Ахматова и не Гумилева) заметила в одном из писем: «Зачем Гумилев взялся за „Сириус“? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастий наш Микола перенес, и всё понапрасну! Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает».

Сам же Гумилев, став редактором «Сириуса», более серьезно отнесся к новому для себя делу, возлагая на него определенные надежды, что видно даже из напечатанного в первом номере обращения к читателям — «От редакции»:

«Издавая первый русский художественный журнал в Париже, этой второй Александрии утонченности и просвещения, мы считаем долгом до конца познакомить читателей с нашими планами и взглядами на искусство.

Мы дадим в нашем журнале новые ценности для изысканного миропонимания и старые ценности в новом аспекте.

Мы полюбим все, что дает эстетический трепет нашей душе, будет ли это развратная, но роскошная Помпея, или Новый Египет, где времена сплелись в безумьи и пляске, или золотое Средневековье, или наше время, строгое и задумчивое.

Мы не будем поклоняться кумирам, искусство не будет рабыней для домашних услуг.

Ибо искусство так разнообразно, что свести его к какой-либо цели хотя бы и для спасения человечества есть мерзость перед Господом».

Надо признать, что напечатанные в трех номерах «Сириуса» вещи, среди которых — повесть «Гибели обречённые», рассказ «Карты», стихи — далеко не полностью подтверждали своим уровнем провозглашенные высокие принципы. Четвертая книжка «Сириуса» не вышла, хотя на задней стороне обложки было указано, что подписка открыта на три месяца (подписная цена на это время в Париже — 5 франков, в России — 3 рубля) и что подписчики получают шесть номеров.

Но несмотря на то, что начавшийся в январе «Сириус» в феврале уже прекратил свое существование, он был для Гуми-

лева поучителен как первоначальный опыт. Речь не только о собственных произведениях, напечатанных там, и не только о том, что была возможность напечатать стихи Анны Горенко, с которой наступило очередное примирение, но и о том прежде всего, что все это вместе взятое являло собою еще одну ступеньку лестницы самоутверждения.

Безусловно, решение издавать «Сириус» не было спонтанным. Ему предшествовало немало фактов, среди которых — продолжающееся ученичество у Брюсова и внимание к его «Весам» (Гумилев выписывал этот журнал и в Париже); взаимопонимание с молодыми русскими художниками; стремление высказать обществу свои художественные воззрения и т. д.

Однако весной Николай Степанович принимает решение приехать в Россию, пробыть там около двух месяцев — до начала июля. По его мнению, размолвка с Анной Андреевной (а он в свое время не прислал ей даже «Путь конквистадоров», хотя и подарил книгу ее брату, Андрею) исчерпала себя и новая встреча могла помочь их отношениям перейти в иное качество. Поэтому не к родителям, не к Брюсову, а в Киев, к Анне Андреевне, первым делом направился он из Парижа. Но, увы, ни «да», ни «нет» не получил он в ответ и на сей раз. Гибкая прелестница столь же беззаботно обещала, сколь легко и отказывалась от обещаний. Не получив категорического отказа, Гумилев улаживает некоторые литературные дела. Принимает предложение киевского журнала «В мире искусств» к сотрудничеству, о чем сообщает Брюсову. И, естественно, встречается с Валерием Яковлевичем, для чего едет в Москву и поселяется в привокзальной гостинице.

Видимо, Гумилев почувствовал, что чем-то неуловимым не вписывается в представления своего учителя об идеале, поэтому, вернувшись в Париж, в августе пишет письмо, в котором чувствуются и просьба, и любовь, и боязнь возможной потери: «...Я люблю Вас. Если бы мы писали до Р[ождества] Х[ристова], я бы сказал Вам: Учитель, поделись со мной мудростью, дарованной тебе богами, которую ты не имеешь права скрывать от учеников. В средние века я сказал бы: *Maitre* [мэтр], научи меня дивному искусству песнопения, которым ты владеешь в таком совершенстве. Теперь я могу сказать только: Валерий Яковлевич, не прекращайте переписки со мной...»

Мрачное, встревоженное состояние вернувшегося в Париж Гумилева не в последнюю очередь объясняется очередным отказом Анны Андреевны. Он почувствовал себя неуверенно и заметался: от планов об «экстравагантом» плаванье (без денег, как бродяга) в Африку до навязчивых мыслей о самоубийстве и даже попытки совершить оное (об этом написал после

расстрела Гумилева Алексей Толстой — в парижской газете «Последние новости» за 23 и 25 октября 1921 г.). Самое большое увлечение Гумилева (Анной Андреевной) и сил у него отняло более всех прочих. Казалось бы, в Париже можно забыть о киевских отказах, можно найти себе нежную подругу (отчего бы и не Елизавету Димитриеву, к примеру, с которой он познакомился в июле 1907 года и которая, став таинственной *Черубиной де Габриак*, сыграет затем, спустя два года, не последнюю роль в его жизни — дело дойдет до дуэли). Но — нет. Анна Горенко не забывалась, рана ныла. К тому же приехал ее брат Андрей, приятель Гумилева, и поселился в квартире Николая Степановича. Как тут забудешь?

Но, слава Богу, человек состоит не только из интимно-чувственной сферы. словно в награду за страдания, испытанные после унижительного приема у Гиппиус и Мережковского, судьба дарит Гумилеву хорошие отношения с теоретиком «научной поэзии» Ренэ Гилем, чьими статьями царскосельский гимназист зачитывался в «Весах». Хочется писать прозу, но новое дело идет туго, и начинающий прозаик дни за днями проводит в библиотеке, в надежде выведать у мастеров прозы тайны мастерства. А заодно увлекают его и критические эссе, сводящиеся пока лишь к мнению о той или иной выставке живописи. Не покидает мечта о длительной поездке по Африке, отсюда — живой интерес ко всему, что может быть так или иначе связано с будущим путешествием.

Валерий Брюсов не оставляет своего благодарного ученика советами и конкретной помощью. Так, Гумилев печатает в «Весах» статью «Выставка нового русского искусства в Париже». Брюсов составляет ему протекцию и в других изданиях. Но главное, о чем Гумилев говорит пока вскользь, не очень охотно, — мысли о новом сборнике стихов. Уже и название придумано: «Романтические цветы». И хотя еще осенью 1907 года Николай Степанович сообщает наставнику: «...свой сборник я раздумал издавать, во-первых, потому, что я недоволен моими стихами, а во-вторых, их слишком мало», — к концу года книга (посвященная Анне Горенко) готова.

Сборник «Романтические цветы», безусловно, было из чего составить: к тому времени Гумилев опубликовал добрый десяток хороших стихотворений, которые явно показывали его работу над собой, — такие, как «Императору», «Маскарад», «За покинутым бедным жилищем...». Но гораздо больше было написано: чего стоят хотя бы «Юный маг в пурпуровом хитоне...», «Перчатка», «Носорог», «Маэстро», «Озеро Чад», «Любовникам», посвященная В. Брюсову «Волшебная скрипка».

Эти стихи — лирическая биография поэта, по ним можно проследить переживания души. Многие строки навеяны образом Анны Андреевны. Многие — мечтами об Африке. Некоторые — конкретными встречами (например, «Сада-Якко», написанное после визита к японской актрисе Сада-Якко, которая гастролировала в Париже).

Но и город поэтов и актеров, чье первоначальное обаяние было непревзойденным, со временем стал привычным, одновременно оставаясь чужим. Когда-то, два года назад, планы пробыть в Париже пять лет казались столь естественны. Теперь же хотелось назад, в Россию. Как и уехавшим недавно из Франции Фармаковскому, Андрею Горенко. Новые знакомства, обретенные с лета 1906 по весну 1908 года, не уйдут в песок времени — они оживут в новом качестве на родной земле: и с Максимилианом Волошиным, и с Елизаветой Дмитриевой, и с Алексеем Толстым, о котором перед самым своим отъездом он напишет московскому наставнику: «Не так давно я познакомился с новым поэтом, мистиком и народником Алексеем Н. Толстым (он послал Вам свои стихи). Кажется, это типичный „петербургский“ поэт, из тех, которыми столько занимается Андрей Белый... Из трех наших встреч я вынес только чувство стыда перед Андреем Белым, которого я иногда упрекал (мысленно) в несдержанности его критики. Теперь я понял, что нет таких насмешек, которых нельзя было бы применить к рыцарям „Патентованной калоши“».

Впрочем, месяца Гумилеву хватило, чтобы более глубоко узнать нового знакомого и его творчество, ибо уже в апреле, перед тем как покинуть Париж, он сообщает все тому же адресату в Москву: «Скоро, наверное, в Москву приедет поэт гр[аф] Толстой, о котором я Вам писал. За последнее время мы с ним сошлись, несмотря на разницу наших взглядов, и его последние стихи мне очень нравятся».

Чем дальше, тем более профессионально, критически подходит Гумилев к творчеству — как своему, так и окружающих его литераторов. Сказывается то, что теперь он взял на себя ответственность публично высказывать мнения и оценки. Так, наряду со статьями в «Весах» о новом русском искусстве он публикует в номерах 22 и 23 киевского журнала «В мире искусств» статью о М. В. Фармаковском, вместе с которым издавал «Сириус». Почти одновременно появляются строки и о самом Гумилеве: рецензент журнала «Образование» П. Дмитриев в № 11 дает высокую оценку его стихотворению «Маскарад».

Новый, 1908 год ознаменовался в первую очередь выходом в свет второго сборника стихов — «Романтические цветы».

Книга эта имела для творческой судьбы Гумилева большое значение. Вернее, не столько сам по себе выход книги, сколько реакция на нее критики и читающей публики. Самую для себя авторитетную оценку он знал и раньше: Брюсов читал все 32 стихотворения, по многим высказывая замечания, которые автор добросовестно учитывал (не зря же незадолго до этого в одном из писем прозвучало: «И теперь моя высшая литературная гордость — это быть вашим послушным учеником как в стихах, так и в прозе»). Но мнение Брюсова, как бы высоко ни ставил его молодой поэт, во-первых, было мнением в известной степени заинтересованного человека, во-вторых — высказывалось в личных письмах, а не публично. И хотя фамилия самого Гумилева уже частенько появляется в печати, квалифицированного суждения о книге — как о своего рода итоге исканий — он ждет с нетерпением.

Как и следовало ожидать, первым на выход «Романтических цветов» откликнулся в прессе Валерий Брюсов. Судя по одному из парижских февральских писем, Гумилев знал об этом намерении мэтра: «Вам понравились „Цветы“. Вы будете писать о них в „Весах“. При таком Вашем внимании ко мне я начинаю верить, что из меня может выйти поэт, которого Вы не постыдитесь назвать своим учеником».

Сравнивая в «Весах» новую книгу добровольного ученика с первой, Брюсов писал: «Стихи Н. Гумилева теперь красивы, изящны и большей частью интересны по форме; теперь он резко и определенно очерчивает свои образы и с большой продуманностью и изысканностью выбирает эпитеты... Конечно, несмотря на некоторые удачные пьесы, и „Романтические цветы“ — только ученическая книга. Но хочется верить, что Н. Гумилев принадлежит к числу писателей, развивающихся медленно и по тому самому встающих высоко. Может быть, продолжая работать с той упорностью, как теперь, он сумеет пойти много дальше, чем мы то наметили, откроет в себе возможности, нами не подозреваемые».

Учитель был не очень далек от истины. Как и в отзыве на первую книгу, он ставил прежде всего на личность, на силу воли, на черты характера, из которых уже и производил творческие прогнозы. Снова он сказал первое, а потому и самое дорогое слово, позволившее Гумилеву взирать на последующие выступления прессы с высоты его, в целом доброжелательной, оценки. Об этом состоянии (с некоторой долей условности) можно было бы сказать заключительными строками стихотворения «Сады души» из «Романтических цветов»:

Я не смотрю на мир бегущих линий,
Мои мечты лишь вечному покорны.
Пускай сирокко бесится в пустыне,
Сады моей души всегда узорны.

Если первый сборник, «Путь конквистадоров», состоял из шестнадцати стихотворений, составляющих два раздела: «Мечи и поцелуи» и «Высоты и бездны», — и трех поэм («Дева Солнца», «Осенняя песня» и «Сказка о королях»), то второй, «Романтические цветы», прост по построению и более насыщен лирикой. Эта книга насчитывает три издания, хотя отдельного второго издания не существует: первое вышло в 1908 году в Париже, вторым считается четвертый раздел книги «Жемчуга» (1910 год), третьим — книга, выпущенная издательством «Прометей» в 1918 году.

Брюсов, публично сказавший о Гумилеве в статье «Дебютанты», что «он — серьезный работник, который понимает, чего хочет, и умсет достигать, чего добивается», в личном письме дает еще более обнадеживающую оценку: «После „Пути“ Вы сделали успехи громадные. Может быть, конквистадоры Вашей души еще не завоевали стран и городов, но теперь они вооружены для завоевания». И перечисляет наиболее понравившиеся ему стихотворения: «Юный маг», «Над тростником», «Что ты видишь...», «Там, где похоронен...», «Мой старый друг», «Каракалла», «Помпей», «Улыбнулась и вздохнула...», «Царица иль, может быть...», «Сады моей души», «Озеро Чад» и другие.

О «Романтических цветах» будет затем с издевкой писать газета «Царскосельское дело», которая никогда не упускала случая продемонстрировать свое отношение к Гумилеву. Не слишком корректно отзовется о книге Николая Степановича и журнал «Образование», доселе хваливший его стихи. Да и газета «Русская мысль» считала напечатанные в сборнике стихи «мёртворождёнными, рассудочными и холодными» и убеждала читателей, что «если признать основным принципом искусства нераздельность формы и содержания, то стихи господина Гумилева пока большей частью не подойдут под понятие искусства».

Все это воспринималось поэтом, конечно, болезненно, но 1908 год — поистине год «Романтических цветов», ибо начался он с доброй рецензии Брюсова и завершился хорошими словами о книге, которые сказал в декабре в газете «Речь» Иннокентий Анненский. И эти два мнения стали определяющими для Гумилева и его книги — как именно первый и последний аккорды.

Три года назад, подписывая экземпляр книги «Путь конквистадоров» директору гимназии И. Ф. Анненскому, 19-летний гимназист перечислил в надписи произведения самого Анненского:

Тому, кто был влюблен, как Иксион,
Не в наши радости земные, а в другие,
Кто создал Тихих Песен нежный звон —
Творцу Лаодамии

От автора

Теперь эстет Анненский откликнулся очень быстро. Вероятно, до декабря его мнение сформировалось полностью, ибо 7 декабря, получив от работника газеты «Речь» Л. Галича предложение о сотрудничестве, Анненский тут же написал о «Романтических цветах» (подписав свою рецензию инициалами); 13 декабря Галич ответил телеграммой: «Если разрешите поставить имя полностью, буду крайне благодарен. Очень важно для газеты. Пойдет в виде статьи». А 15 декабря материал был опубликован (с полным именем, а не с инициалами).

Анненский подробно перечислил достоинства «Романтических цветов», сделав это не просто живо, но и даже как-то гурманно-изящно: «Зеленая книжка оставила во мне сразу же впечатление чего-то пряного, сладкого, пожалуй даже экзотического, но вместе с тем и такого, что жаль было долго и пристально смаковать и разглядывать на свет: дал скользнуть по желобку языка — и как-то невольно тянешься повторить этот сладкий зеленый глоток. Лучшим комментарием к книжке служит слово *Париж* на ее этикетке. Русская книжка, написанная в Париже, навеянная Парижем...»

И хотя далеко не все Анненский оценил в книге как достойное внимания, он сумел сказать и обнародовать главное, может быть, что характеризует творчество Гумилева того периода: «Зеленая книжка отразила не только *искание красоты*, но и *красоту исканий*».

А это было время именно исканий, о чем говорит как уход в «Романтических цветах» от декадентства «Пути конквистадоров», так и уход в последующих книгах от символизма «Романтических цветов». И сами по себе эти искания достаточно полно выражены Гумилевым в мартовском письме 1908 года к Брюсову по поводу брюсовского стихотворения «Поэту»:

«На днях я получил № 1 „Весов” и пришел в восторг, узнав, что „всё в жизни — лишь средство для ярко-певучих стихов”. Это была одна из сокровеннейших мыслей моих, но я боялся

оформить ее даже для себя и считал ее преувеличенным парадоксом».

«Одна из сокровеннейших мыслей» к тому времени уже начала получать воплощение в экзотических стихах. Причина, конечно, не только в первом краткосрочном путешествии в Африку и увлеченности этим континентом; причина прежде всего в попытке найти наиболее полный, оптимальный способ самовыражения. И потом, экзотичность тоже была необходимым кирпичиком в планомерном делании Гумилевым самого себя. До конца жизни он многим и многое доказывал, но себе самому — больше всего именно в эти вот годы.

Прочитав рецензию Анненского, Гумилев искренне поблагодарил бывшего своего учителя в письме к нему:

«Я хочу особенно поблагодарить Вас за лестный отзыв об „Озере Чад“, моем любимом стихотворении. Из всех людей, которых я знаю, только Вы увидели в нем самую суть, ту иронию, которая составляет сущность романтизма и в значительной степени обусловила название всей книги».

Но одновременно Николай Степанович был несколько озадачен некоторыми оценками Анненского — например, такими: «Тут целый ряд тропических эффектов, и все, конечно, бутафорские: и змеи-лианы, и разъяренные звери, и „изысканный жираф“, жираф-то особенно...»

Поддержал, хотя и очень осторожно, молодого поэта в № 7 «Русской мысли» поэт и критик Виктор Гофман, написавший, что «Романтические цветы» — это «лишь преддверие, лишь обещание, к которому, впрочем, стоит прислушаться...»

Одновременно с поэтическими исканиями Гумилев, особенно в последние месяцы перед возвращением из Парижа в Россию, продолжал заниматься прозой, критикой. В № 5 «Весов» за 1908 год выходит его статья «Два салона» — о выставке «Независимых» в Париже. Написаны рассказы «Дочери Каина», «Скрипка Страдивариуса», «Черный Дик», «Последний придворный поэт», «Принцесса Зара»... Все эти и некоторые другие рассказы опубликованы в течение года в «Весах», «Весне», «Речи», «Русской мысли». Кроме прозы, напечатано также десять стихотворений, три статьи (о Верхарне, о Фармаковском и о художественных выставках) и почти десяток рецензий на книги таких авторов, как В. Брюсов, А. Ремизов, Ф. Сологуб, К. Бальмонт и другие.

Иными словами, первый парижский период дал Гумилеву не только новые знакомства, значительная часть которых состоялась в «Русском артистическом кружке» и на «четвергах» Е. С. Кругликовой, но дал он и умение работать над собой, осознание, что только работоспособность может стать ступе-

нию к успеху. К середине апреля 1908 года, когда Гумилев прошался с Парижем, ему было чем отчитаться за два года — и перед собою, и перед учителем, и перед друзьями, начавшими следить за его литературными трудами. Но не менее важным было и то, что европейская столица не отняла у него мечты о славе, а лишь подогрела ее. И отъезд в Россию был отъездом не только к Анне Андреевне, к родителям, а и к тому литературному кругу, в который он готов был теперь вступить в новом качестве — человека с именем, уже приобретающим известность.

Глава четвертая

«СТРЕМЛЮСЬ ЗАБЫТЬ, ЧТО ТАЙНА НЕКРАСИВА»

Так много тайн хранит любовь,
Так мучат старые гробницы!
Мне ясно кажется, что кровь
Пятнает многие страницы.

И тёрн сопутствует венцу,
И время жизни — злое время...
Но что до этого чтецу,
Неутомимому, как время!

Мои мечты... они чисты,
А ты, убийца дальний, кто ты?!
О, пожелтевшие листья,
Шагреневые переплеты!



Как и в прошлый приезд, по прибытии в Россию первым делом Николай Степанович отправился в Киев, нанес визит Анне Горенко. Увы, встреча завершилась очередной бурной размолвкой. Бледноликая печальница словно знала, чему столь долго и упорно сопротивлялась: влюбчивость Гумилева известна — с кем только он не прогуливался вечерами, кому только не назначал свиданий и

не посвящал стихов! Но любовью его, самой большой, выстраданной, оставалась Анна Андреевна.

Огорченный размолвкой, но не теряющий надежды, Гумилев заехал в Москву к Брюсову, после чего отправился домой, в Петербург. После краткого отдыха он решает продолжить образование на родной земле и поступает на юридический факультет Петербургского университета. Однако, как и в Париже, на первом месте остаются литературные увлечения, и еще до прошения, поданного ректору университета в июле, Гумилев баллотируется в кружок «Вечера Случевского». Двадцать четвертого мая состоялось последнее заседание кружка сезона 1907—1908 годов. Именно на этом собрании, проходившем в Царском Селе, у В. И. Кривича, Гумилев и был избран. «Петербургская газета» писала: «Дебютировавший на этом вечере молодой поэт Н. Гумилев был избран членом „Вечеров Случевского“».

Казалось бы, вполне достаточно забот и дел, тем более что газеты просят присылать новые рассказы, зреет план следующей поэтической книги. Но романтика, мечты о дальних странах не дают сидеть на одном месте. В июле 1908 года, едва оглядевшись в Петербурге, Гумилев уже сообщает Брюсову, что осенью думает уехать в Абиссинию, «чтобы в новой обстановке найти новые слова, которых мне так недостает». И отправляется на пароходе «Россия» из Одессы через Синоп, Константинополь, Афины, Александрию в Каир.

Были ль путешествия для него самоцелью? Если ответить утвердительно, тогда придется согласиться и с тем, что поэзия тоже была самоцелью. А это не так. Обычная жизнь этого не обремененного славой и богатством (но желающего и того и другого) молодого человека заканчивалась там, где начинались поэзия и путешествия; поэт и путешественник не боролись в нем, они не только мирно уживались, но и были необходимы один другому, дополняли и взаимообогащали друг друга. Поэтические мечты звали в дорогу, а путевые наблюдения — будь то Александрия или Эзбекие — находили отражение в стихах.

Двадцатидвухлетний господин в приталенном длинном студенческом сюртуке заставлял говорить о себе. Понятное дело, не университетские успехи были тому причиной, что огорчало больного ревматизмом отца, уже не выходившего из своей комнаты. На родительские требования Николай Степанович обещал непременно окончить университет, но его хватило лишь на то, чтобы перевестись в следующем году на романо-германское отделение историко-филологического факультета, что в большей мере отвечало его интересам и пристрастиям,

чем юриспруденция, вкуса к которой он так и не успел почувствовать.

Интенсивная переписка с Брюсовым теперь характерна тем, что, продолжая формально называть себя «учеником» и прислушиваться к советам мэтра, Гумилев тем не менее переходит скорее на деловой тон: то предлагает повесть в «Весы», то рассказывает о подготовке книги «Золотая магия» (так одно время назывался сборник «Жемчуга») и т. п. К концу 1908 года у него появляется иной, не менее сильный, чем брюсовское наставничество, магнит — «башня» Вячеслава Иванова.

Николай Гумилев давно хотел познакомиться с символизмом Вячеславом Ивановым, о котором в ту пору много говорили и писали. И поэтому, когда в ноябре Сергей Ауслендер предложил нанести визит мастеру, Гумилев с радостью согласился.

«Башня», прославленная затем в десятках мемуаров, являла собою большую квартиру на последнем этаже дома № 35 по Таврической улице. Литературный цвет столицы собирался тут по средам. Засиживались до четверга, споря, обсуждая, слушая. Со временем частым гостем здесь стал и Гумилев, что не могло не сказаться на его отношениях с Брюсовым. Слишком много сил и надежд вложил Валерий Яковлевич в своего великовозрастного ученика, чтобы без ревности наблюдать за тем, как Гумилев вместе с Ауслендером (о котором Ахматова говорила, что тот «был молод, красив, тип такого „скрипача“ с длинными ресницами — бледный и немного томный») и прочей молодежью поддается влиянию «царицы Савской» (так Брюсов называл Иванова). И как Гумилев ни пытался уверить московского наставника в своей преданности, как ни убеждал: «...учитель мой — Вы, и мне не надо другого», — отношения становились натянутыми, Брюсов не скрывал своего неудовольствия. Повод и причина начинают совмещаться, грозя разрывом.

Конечно, будь Гумилев в Париже или хотя бы в Москве — тогда иное дело, но в Северной Пальмире, в этой невской жемчужине, так много соблазнов для души и тела, что поминутно сверять все, что делаешь, с московскими мерками просто нереально. К тому же наконец-то организаторские способности Гумилева и желание утвердиться находят достойное применение. Его привечают и на «Вечерах Случевского», и на «башне» Иванова, его стихи и теоретические рассуждения слушают с почтительным вниманием. Возникают и мысли об издании журналов.

Петербургская встреча с парижским знакомцем А. Н. Толстым, с которым они в кафе под каштаном менее года назад мечтали о славе и о поисках Атлантиды, привела к созданию

ежемесячного журнала стихов «Остров». Денег, как всегда, не было, но выручил любитель поэзии, инженер, давший двести рублей. В результате первый номер с нарисованной Бакстом обложкой разошелся в количестве тридцати экземпляров. В отличие от «Сириуса» авторский состав был достаточно широким: кроме трех стихотворений Гумилева («Царица», «Воин Агамемнона», «Лесной пожар»), в «Острове» напечатаны произведения М. Кузмина, Вяч. Иванова, М. Волошина, П. Потёмкина, А. Н. Толстого. Но в дальнейшем судьба «Острова» повторила судьбу «Сириуса», и даже с опережением: на то, чтобы выкупить из типографии второй номер, денег не хватило.

Тем не менее оба номера были замечены и даже отрецензированы: первый — С. Соловьевым в журнале «Весы», № 7 за 1909 год, и С. Ауслендером в газете «Речь» от 29 июня того же года; второй — самим Н. Гумилевым в декабрьском номере журнала «Аполлон» и М. Кузминым — там же. Поскольку второй номер «Острова» в библиотеках не сохранился (вероятно, и не поступал в них), то судить о его содержании можно лишь по отзывам рецензентов. Имена на страницах второго номера «Острова» представлены интересные, привлекающие внимание: И. Анненский, Л. Столица, А. Н. Толстой, Е. Димитриева, А. Блок, А. Белый, Эльснер, Лившиц, С. Соловьев и, естественно, Н. Гумилев, о котором Кузмин в своей рецензии не без остроумия написал: «Н. Гумилев дал изящный сонет, начинающийся с довольно рискованного утверждения: „Я — попугай с Антильских островов”».

Тысяча девятьсот девятый год был для Николая Степановича одним из самых насыщенных. Появляются десятки новых знакомых, с которыми как в ближайшем, так и в отдаленном будущем не раз пересекутся его личные и творческие пути. Сотрудничество с А. Н. Толстым, К. Бальмонтом, М. Кузминым и П. Потемкиным привело к возникновению промелькнувшего в литературном море «Острова». Новогоднее знакомство на вернисаже «Салон 1909-го года» с С. К. Маковским послужило импульсом к созданию одного из лучших журналов — «Аполлона». Встреча с О. Мандельштамом завлекла последнего в «Цех поэтов». Возобновление отношений с М. Волошиным и Е. Димитриевой обернулось не только совместным отдыхом в Коктебеле, но и последовавшей затем дуэлью. Связи, существовавшие внутри литературной петербургской сферы, были настолько тесны и сопряжены, что прикосновение к любой из них тут же влекло ответную реакцию остальных. Тем более что центр общения для большинства оставался прежним (ивановская «башня»).

Практически все, случившееся с Гумилевым в течение этого года, в той или иной степени представляет интерес — от редакторской деятельности до настоящего, длительного путешествия в Африку. Но все же наиболее значительным и для литературы вообще, и для Гумилева в частности было событие, в котором и он принимал самое непосредственное участие — создание журнала «Аполлон».

Как уже говорилось, все началось с организованного С. К. Маковским «Салона 1909-го года» — выставки живописи, графики, скульптуры и архитектуры, которую этот видный художественный критик и историк искусства устроил в первых числах января в «Меншиковских комнатах» Первого кадетского корпуса. Продолжая заброшенное Дягилевым дело, Маковский сумел выставить на вернисаже более шестисот произведений, авторами которых были и известный Н. К. Рерих, и впервые тогда появившиеся Петров-Водкин, Чюрленис, Кандинский. На этой выставке и познакомили ее устроителя с молодым автором «Романтических цветов». «В следующий раз, — вспоминал Сергей Константинович Маковский, — он принес мне свой сборник (а я дал ему в обмен только что вышедший второй томик моих „Страниц художественной критики“) ... Юный поэт-царскосёл восторженно говорил об Иннокентии Анненском... Гумилев бывал у него, помнил наизусть строфы из „трилистников“ „Кипарисового ларца“, с особой почтительностью отзывался о всеискушенности немолодого уже, но любившего юношески-пламенно новую поэзию лирика-эллиниста Анненского, и предложил повезти меня к нему в Царское Село. Мое знакомство с Анненским, необыкновенное его обаяние и сочувствие моим журнальным замыслам... решили вопрос об издании „Аполлона“. К проекту журнала Гумилев отнесся со свойственным ему пылом. Мы стали встречаться все чаще с ним и его друзьями — Михаилом Алексеевичем Кузминым, Алексеем Толстым, Ауслендером. Так образовался кружок, прозванный впоследствии секретарем журнала Е. А. Зноско-Боровским — „Молодая редакция“. Гумилев горячо взялся за отбор материалов для первых выпусков „Аполлона“, с полным бескорыстием и с примерной сговорчивостью... Никогда не изменял он своей принципиальности из личных соображений или „по дружбе“, был ценителем на редкость честным и независимым».

Как водится, некоторое время заняли организационные хлопоты: пока нашли помещение, пока Маковский с трудом уговорил молодого царскосёла М. К. Ушакова подписывать «Аполлон» в качестве соиздателя... Наконец, к завершению лета 1909 года, редакция расположилась в квартире № 6 на

Мойке, 24, и было договорено с издательством Ефронов «Якорь» о выпуске первого номера журнала (в дальнейшем Ефроны от издания отказались, и все заботы взяли на себя Маковский и Ушаков).

Наряду с активнейшим участием в подготовке «Аполлона» Гумилев продолжает много писать. В газетах и журналах появляются его статьи об Андрее Белом, о «Второй книге отражений» И. Анненского, о «Салоне» Маковского, о стихах Пяста, о французской поэзии XIX века, о Бородаевском; в № 7 «Весы» публикуют его рассказ «Скрипка Страдивариуса». Одновременно появляются сочувственные публикации о его творчестве — в журналах «Золотое руно», «Современный мир».

Написанные в первой половине 1909 года «Попугай» и «Семирамида» еще раз подтверждают влечение к экзотике, красочности, необычности. И пусть «попугай с Антильских островов» живет «в квадратной келье мага», где лишь «реторты, глобусы, бумага, и кашель старика, и бой часов», но он, многопомнящий и многого желающий, восклицает:

Мне грезится корабль в тиши залива,
Я вспоминаю Солнце...

И пусть поездка в Египет осталась в прошлом, но не забываются сады Семирамиды, вновь манят к себе.

Поэзия Гумилева отличительна тем, что тени былого она превращает в красочные полотна настоящего. Почти все его реальные странствия — во Францию, в Италию, в Африку — находили затем живейшее воплощение в стихах. Может быть, и по этой причине с таким упоением он в ноябре 1909 года засобирается в африканскую экспедицию. Но до этих ноябрьских сборов случится еще несколько событий, которые привлекут внимание к имени Гумилева.

Одно из них — дуэль. Да, настоящая — с пистолетами, секундантами, выстрелами...

Гумилев и в гимназии слыл «дуэлянтом», и в дальнейшем не страшился смерти: кажется, в нем патологически отсутствовало естественное чувство страха. Но ситуация, сложившаяся в 1909 году, не завершилась только стрельбой: этическая дуэль продолжалась затем на протяжении всей жизни Гумилева.

...Познакомившись летом 1907 года в Париже, в мастерской русского художника С. Гуревича, с молодой поэтессой Елизаветой Димитриевой, Николай Степанович не слишком долго помнил о той встрече, тем более что по возвращении в Россию столько эмоций вызвали у него встречи с Анной Горенко, а затем еще и быстротечный роман с Аренс. Но встречи с

Димитриевой на «башне» вернули старые воспоминания и породили новые чувства. О первом совместном вечере на «башне» Елизавета Ивановна напишет: «Гумилев поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это — „встреча” и не нам ей противиться. Это была молодая, звонкая страсть. „Не смущаясь и не кроясь, Я смотрю в глаза людей, Я нашел себе подругу Из породы лебедей”, — писал Николай Степанович в альбоме, подаренном мне».

Не менее страстно отвечала и она ему в стихах:

Слаще меда и вина
Был нашей встречи час.

Эта женщина-полуколдунья словно была послана ему судьбою в отместку — за влюбчивость, за упрямство в отношениях с Анной Горенко, за самолюбие, Бог весть за что. Он не корил ее за посредственные стихи, не замечал недостатков (затем Ахматова едко подметила, что он не замечал даже ее хромоты, пока ему об этом не сказали). Вместе с нею в мае 1909 года он едет к Волошину в Коктебель. Это романтическая поездка на юг, к морю, с возлюбленной; их разговор — сплошные ласки слов; их завтрашний день — сплошное обещанье.

Впрочем, это не помешало ему из Коктебеля заехать к Анне Андреевне в Одессу и быть нежным с нею.

Однако... Гумилев ехал в Коктебель с Димитриевой, а Димитриева ехала с Гумилевым, но — к Волошину. И это не могло не сказаться на отношениях всех троих. Николай Степанович учил Волошина стрелять из пистолета, вел с ним беседы о живописи и о литературе, читал ему стихи, писал сонеты, но Волошин его раздражал — уж тем одним, что Волошина боготворила Димитриева.

А эта молодая поэтесса, как и сам Гумилев, умела одновременно любить двоих, и обоих — честно, чисто и самозабвенно, никому из них в мыслях не изменяя (как сама она трагически-наивно признавалась: «Во мне есть две души, и одна из них, верно, любила одного, другая другого...»). И, вероятно, больше, чем обоих поэтов, любила она своего жениха В. Н. Васильева, потому что за него, а не за Гумилева или Волошина позднее, в 1911 году, вышла замуж.

Вот из-за Елизаветы Ивановны Димитриевой и случилась дуэль, вызвавшая скандал.

Об этой истории, неожиданно ворвавшейся в литературную жизнь, вспоминали затем многие: А. Н. Толстой, М. Волошин, С. Маковский, М. Цветаева, Й. Гюнтер... Оценки и трактовки самые разные. Расскажем обо всем последовательно.

Димитрисва, не раз предлагавшая свои стихи в журналы символистов, получала неизменные отказы. И тогда благоволивший к ней и влюбленный в нее Максимилиан Волошин предложил разыграть спектакль. В августе редактор «Аполлона» С. Маковский получил письмо: переложенные травками и надушенные листки со стихами. Автор — некая Черубина де Габриак, одинокая, романтическая, чувственная испанская аристократка, воспитывавшаяся в монастыре и наконец вкусившая прелесть жизни.

Она не приходила, несмотря на просьбы, — лишь присылала новые стихи и звонила по телефону. Вся редакция «Аполлона» заочно влюбилась в нее, а Гумилев мысленно уже покорял сердце прелестной испанки. Догадывавшийся о мистификации А. Н. Толстой вздрагивал от страха, хотя и писал: «Ей посылали корректуры с золотым обрезом и корзины роз. Ее превосходные и волнующие стихи были смесью лжи, печали и чувственности».

Это соответствовало атмосфере «Аполлона» — этакая романтическая орхидея, лишь источающая запах. Сам «Аполлон» не случайно разместился в двухэтажном темно-красном особняке на Мойке — особняке, который избрал «Аполлон Мусaget для своего парнасского святилища». Здесь любили красивое: белая лестница устлана красным ковром, в кабинете белая мебель из карельской березы, у входной двери — блестящая медная табличка... Здесь любили праздники жизни; так, открытие журнала отмечалось в ресторане Кюба — одном из лучших подобных заведений столицы; красивейшие речи перемежались лучшими напитками.

Черубина де Габриак с ее звучным именем, завораживающим голосом, таинственностью была просто создана для атмосферы «Аполлона». И потому ее стихи сразу было решено печатать.

Сама же Е. И. Димитрисва в это время спокойно встречалась с влюбленными в Черубину «аполлоновцами» и в их присутствии поругивала загадочную испанку, высказывая подозрение, что та — уродина, раз скрывается.

Но — и шила в мешке не утаишь, и женщина — не хранильница тайны. После одного из вечеров на «башне» Вячеслава Иванова Димитрисва сама поведала о мистификации сотруднику «Аполлона», 23-летнему немцу Йоганнесу фон Гюнтеру. Более того, несколько вечеров подряд приходила к нему, продолжая убеждать, рассказывать о Коктебеле, о Гумилеве, Волошине... Сам Гюнтер признавался позже, что для него «было несравненным наслаждением знать тайну, за разгадкой которой охотился весь Петербург».

Вероятно, и ему «наслаждение в одиночку» не давало покоя, и вскоре тайна перестала быть тайной, а туманная мистификация стала выглядеть элементарным обманом. К тому же Гюнтер, отягощенный «тайной», начал рассказывать еще и об отношениях Гумилева и Димитриевой, ссылаясь на Гумилева. И тут грянула гроза. Вот как это выглядит в интерпретации ее зачинщика, М. А. Волошина:

«Мы встретились с ним (с Гумилевым.— *И. П.*) в мастерской Головина в Мариинском театре во время представления „Фауста“. Головин в это время писал портреты поэтов, сотрудников „Аполлона“. В этот вечер я ему позировал. В мастерской было много народу, в том числе — Гумилев. Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так, как Гумилев, большой специалист, сам учил меня...

В огромной мастерской на полу были разостланы декорации к „Орфею“. Все были уже в сборе. Гумилев стоял с Блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел „Заклинание цветов“. Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос И. Ф. Анненского, который говорил: „Достоевский прав. Звук пощечины — действительно мокрый“. Гумилев отшатнулся от меня и сказал: „Ты мне за это ответишь“».

Волошин во многом неточен и вряд ли объективен. Наиболее полно вся эта история описана в объемистом мемуарном очерке С. К. Маковского «Черубина де Габриак». Но суть в том, что на другой день возле Черной речки (еще бы: здесь был поединок Пушкина с Дантесом!) два поэта стрелялись. Дуэльные пистолеты едва ли не пушкинских времен, с выгравированными на них фамилиями всех прежних дуэлянтов, достали у Бориса Суворина. Секундантами Гумилева выступили Е. А. Зноско-Боровский и М. А. Кузмин, секундантами Волошина — А. Н. Толстой и князь А. К. Шервашидзе. Стреляться, несмотря на протесты Гумилева (он требовал: с пяти метров, до смерти) решили с двадцати пяти шагов, не меньше.

Гумилев промахнулся, у Волошина было две осечки, а затем он тоже не попал. На том дуэль и кончилась. Состоявшийся затем суд присудил по десяти рублей штрафа с каждого участника. Мириться Гумилев с Волошиным отказались напрочь.

Может быть, эта история и забылась бы, не получи она сразу небывалую огласку: о дуэли писали «Раннее утро» и «Голос Москвы», «Новое время» и «Московский еженедельник», «Южный край» и «Новая копейка», «Русское слово» и

«Новая Русь», и даже «Биржевые ведомости» и «Одесские новости». Внимание, привлеченное таким образом к поэтам и к «Аполлону» (ведь все участники этой истории — сотрудники журнала), создало Гумилеву определенную «славу». А ходить в героях ему хотелось всегда. Ореол «рыцаря-защитника» витал и над М. Волошиным.

Но дело тут было не в самих поэтах; прав в своем выводе С. Маковский: «Репортеры „желтой прессы“ воспользовались поводом для отместки „Аполлону“ за дерзости литературного новаторства».

Кстати, как ни странно, больше всех в этой истории пострадал сам Маковский: он страстно влюбился в Черубину де Габриак. В конце концов М. Кузмин сказал ему: «Дело зашло слишком далеко. Надо положить конец недостойной игре! Вот номер телефона: позвоните туда хоть сейчас. Вам ответит так называемая Черубина... Она — не кто иная, как Елизавета Ивановна Димитриева, ненавистница Черубины, школьная учительница, приятельница Волошина».

Маковский был потрясен, он не мог поверить Кузмину. Но — позвонил, назначил встречу. Она пришла. И что же? «В комнату вошла, сильно прихрамывая, невысокая, довольно полная, темноволосая женщина с крупной головой, вздутым чрезмерно лбом и каким-то поистине страшным ртом, из которого высывались клыкообразные зубы. Она была на редкость некрасива. Или это представилось мне так, по сравнению с тем образом красоты, что я выносил за эти месяцы? Стало почти страшно. Сон чудесный канул вдруг в вечность, вступала в свои права неумолимая, чудовищная, стыдная действительность».

Но осознал ли через несколько дней после этого визита Сергей Маковский, что среди прочих и он, «очарованный тенью», явился косвенной причиной смерти И. Ф. Анненского? Ибо вместо его стихов, публикации которых так ждал стареющий поэт, напечатал стихи «Черубины».

Анненский умер 30 ноября, скоропостижно, на вокзале, от сердечного приступа, успев отправить Маковскому письмо с сожалением о расстроившемся печатании стихов и написать последнее свое стихотворение — «Моя тоска».

Как точно о нем — в своей «неправдоподобной правде», в «Мужицком сфинксе», — сказал М. Зенкевич: «Анненский щептилен как мимоза, чуть задень — и весь сожмется, уйдет в себя, ведь ему все еще неловко, что он в пятьдесят лет — начинающий поэт с двумя тоненькими книжечками стихов».

Не зря он был единственным, кто с первого появления стихов Черубины не поверил ни в автора, ни в ее поэзию.

Стоило И. Ф. Анненскому умереть, как невнимание к нему сменилось его культом, влюбленностью в вышедший уже после его гибели сборник стихов «Кипарисовый ларец». Тот же Маковский скажет, что таких «очарователей ума» он не встречал более, и назовет ушедшего поэта «духовным принцем крови». Без него опустел «Аполлон», осиротела «Поэтическая академия», навсегда обеднел Гумилев, для которого этический пример и авторитет царскосельского поэта были важнее эстетики Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова. И первым отзывом о стихах покойного уже Анненского будет отзыв Гумилева, опубликованный в декабрьской книжке «Аполлона» за 1909 год.

Взявшись за сотрудничество с журналом с присущей ему отдачей, Николай Степанович публикуется в каждом номере: в первом — статья «Городецкий и др.», во втором — «Альманах „Смерть“ и др.» (здесь же напечатан и его портрет работы Н. С. Войтинской, написанный по просьбе Маковского), в третьем — статья «„Весы“ и „Остров“» и т. д. Это — кроме стихов, публиковавшихся в тех же номерах (и в других журналах, естественно, тоже). Так, ставшие знаменитыми «Капитаны» (на долгое время — «визитная карточка» Гумилева) появились в первой книжке «Аполлона», вышедшей 25 октября 1909 года.

Стихотворение это, нередко называемое поэмой, было написано в Коктебеле, во время приезда туда Гумилева вместе с Димитриевой, после размолвки с нею. Алексей Толстой с надуманной легкостью говорил об этом: «Гумилев с иронией встретил любовную неудачу: в продолжение недели он занимался ловлей тарантулов. Его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Он устраивал бои тарантулов. К нему было страшно подойти. Затем он заперся у себя в чердачной комнате дачи и написал замечательную, столь прославленную впоследствии поэму „Капитаны“. После этого он выпустил пауков и уехал».

«Капитаны» — это уже не надуманный конквистадор, хотя общего немало. Юношеская киплинговская романтика так и плещет, так и искрится в них:

...Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыплется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет...

Гумилев оставался тем же, но голос, интонации, настроение в этом стихотворении — иные. Современный исследователь А. Павловский сделал верный вывод: «В глазах современ-

ников „Капитаны”, возможно, выигрывали хотя бы уже потому, что своим обликом не походили на манеру тогдашних кумиров „массовой” моды,— ни на гипнотическую раскачку Бальмонта, ни на женственно грацирующего Северянина, а значит, по предположительному мнению, обещали что-то новое. При всей своей книжности и явственной литературной вторичности Гумилев мог привлечь откровенно молодым обещанием будущей силы и намечавшейся оригинальности: в его стихах угадывались мускулистость, четкость и твердость изображения, не слишком свойственные поэзии тех лет».

...Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.

Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат,

Меткой пулей, острогой железной
Настигать исполинских китов
И приметить в ночи многозвездной
Охранительный свет маяков?

Мечта о подвигах, Муза Дальних Странствий, романтика не оставляли его, несмотря ни на что — ни на любовные неудачи, ни на занятость, ни на бытовые заботы. Он даже Вячеславу Иванову предлагал поехать вместе в Африку, соблазнял красотою и экзотикой, ибо искренне не понимал: как можно перед этим устоять? И когда возникла возможность отправиться в Абиссинию, он в самом деле не устоял: первого декабря пароход с Гумилевым на борту вышел из Одессы.

На сей раз поэту не было необходимости путешествием выбивать любовный клин. Наоборот — в Африку он ехал окрыленным: Анна Андреевна согласилась стать его женой. Произошло это в Киеве, спустя четыре дня после знаменитой дуэли с Волошиным. Приехав на Украину вместе с П. Потемкиным, А. Толстым, М. Кузминым для участия в литературном вечере «Остров искусства», Николай Степанович 26 ноября читал перед публикой свои стихи — «Сон Адама», «Товарищ», «Лесной пожар», «Царица». Их слушала в числе прочих и Анна Андреевна. В тот же вечер она ответила на очередное предложение давнего поклонника положительно. Вернее, согласием ответила она не поклоннику, но — поэту. Справедливо наблюдение Романа Тименчика: «После вечера Гумилев и Анна

Андреевна пошли в ресторан. Здесь было получено последнее и окончательное согласие. Оно было дано не надоедливому соискателю руки, не другу юности, а поэту — дважды оскорбленному, трижды оскорбленному, бесконечно оскорбленному пощечиной, сплетней и тем, что позднее Ахматова назовет в стихах „равнодушием толпы”».

Пощечина — М. Волошина. Сплетня — о недавней дуэли. Равнодушие и оскорбление — реакция на вечер «Остров искусства», в котором, кроме Н. Гумилева, А. Толстого, П. Потемкина и М. Кузмина, участвовали еще О. Форш, В. Эльснер, К. Соколова, Л. Рындина и другие. «Киевская мысль» за день до этого вечера современной поэзии ёрничала: «Г-н Гумилев? Г-н Толстой? Что вам про них известно? Я вижу: вы морщите лоб. Тщетно силитесь хоть что-нибудь вспомнить?», — а после вечера писала: «Или думает г-н Гумилев, что о нем как о поэте что-нибудь слышали? Слыхали, положим, но только в самые последние дни, когда из газет узнали о той неприятности, которая вышла у него с г-ном Максимилианом Волошиным. Но ведь, опять, и это интерес не чересчур лестный!»

На таком фоне согласие Анны Горенко было верхом милосердия.

А в последний день ноября 1909 года Гумилев на поезде отправился из Киева в Одессу, чтобы присоединиться там к экспедиции. На сей раз поездка была достаточно долгой (до февраля 1910 года) и насыщенной впечатлениями и событиями, которые послужат затем основой для поэмы «Мик» и для «Абиссинских песен». Экзотическая природа, охота, подстерегающие опасности, непривычные обычаи, само по себе звучание мест — *Джедда, Джибути, Харрар, Аддис-Абеба* — это было именно то, к чему он стремился и чего искал. Читая лишь несколько лет назад, в 1987 году, опубликованный «Африканский дневник» и рассказы, навеянные теми днями, особенно ощущаешь его привязанность к Африканскому континенту.

В одном из писем, отправленных из далеких краев на «башню» Вячеславу Иванову, Гумилев, с легкой небрежностью сообщая о купаниях чуть ли не среди акул, одновременно приветствует «Академию стиха», в некотором роде свое детище. Еще в начале 1909 года, когда он возвратился из Парижа полным идей и энергии, он задумал не только «Аполлон» и «Остров», но и некий кружок, студию, школу, где можно было бы читать стихи, разбирать и обсуждать их, заниматься теорией поэзии. Уже тогда в нем проявились способности организатора, которые особенно ярко раскроются после 1918 года, когда сам он возглавит несколько творческих

объединений, будет читать лекции, иметь десятки учеников и последователей.

Задуманная «Академия стиха» имела и еще одно, более деловое название: «Общество ревнителей художественного слова». Собирались на знаменитой «башне», лекции читали Вячеслав Иванов, Иннокентий Анненский (в течение одного года), профессор Ф. Ф. Зелинский.

Валерий Брюсов с большой ревностью следил за новым увлечением своего подопечного, тем более что увлечение это было тесно связано с соперником московского мэтра, Вячеславом Ивановым. Разногласия между учителем и учеником, тщательно и на удивление дипломатично сдерживаемые Гумилевым, все же неуклонно разрастались.

В скором времени и сам Гумилев, не признававший над собою диктата (ибо считал, что командовать — его удел), отойдет от «Академии стиха», тем более что за время его африканских странствий всю власть возьмет на себя Вячеслав Иванов. Но сам факт создания литературного общества, в котором могли бы встретиться единомышленники, примечателен. Он позволяет увидеть некую закономерность. «Опытный» «Сириус» привел затем к рождению замечательного «Аполлона», а столь же «опытная» (в смысле первой постановки опыта, приобретения его в новом деле) «Академия стиха» явится предшественницей «Цеха поэтов».

Встретив наступление 1910 года в Африке, Николай Степанович в первых числах января начал готовиться к возвращению на родину, — оно заняло почти месяц. Совпадение ли, судьба ли — но, вернувшись 5 февраля в Петербург, он еще застал отца в живых: Степан Яковлевич, давно болевший, скончался на следующий день после приезда сына.

Семейный траур сказался и на том, что состоявшаяся через два месяца, в апреле, свадьба была скромной, тихой и спокойной. Впрочем, причиною тому мог быть и не только траур. Подав пятого апреля прошение ректору университета о разрешении вступить в брак с А. А. Горенко, сам Николай Степанович, зная характер возлюбленной, не был до конца уверен в том, что она в очередной раз не передумает. Сама же Анна Андреевна, постоянно подчеркивавшая, как она красива, замуж выходила, словно устало сдаваясь в плен. На сей счет В. Лукницкая приводит в своей книге воспоминание подруги Ахматовой, В. Срезневской:

«Аня никогда не писала о любви к Гумилеву, но часто упоминала о его настойчивой привязанности — о неоднократных предложениях брака и своих легкомысленных отказах и равнодушии к этим проектам. В Киеве у нее были родственные

связи, кузина, вышедшая позже замуж за Аниного старшего брата Андрея. Она, кажется, не скучала. Николай Степанович приезжал в Киев. И вдруг, в одно прекрасное утро, я получила извещение об их свадьбе. Меня это удивило. Вскоре приехала Аня и сразу пришла ко мне. Как-то мельком сказала о своем браке, и мне показалось, что ничто в ней не изменилось; у нее не было совсем желания, как это часто встречается у новобрачных, поговорить о своей судьбе. Как будто это событие не может иметь значения ни для нее, ни для меня.

Мы много и долго говорили на разные темы. Она читала стихи, гораздо более женские и глубокие, чем раньше. В них я не нашла образа Коли. Как и в последующей лирике, где скупое и мимолетно можно найти намеки о ее муже, в отличие от его лирики, где властно и неотступно, до самых последних дней его жизни, сквозь все его увлечения и разнообразные темы, маячит образ жены. То русалка, то колдунья, то просто женщина, таящая „злое торжество”...»

Да, так все и было. И затем, когда в 1918 году они расстанутся формально (на деле — гораздо раньше), еще яснее станет, что причина не в других мужчинах, а в ней самой.

Венчание состоялось в Николаевской церкви села Никольская Слободка Черниговской губернии 25 апреля, а за несколько дней до этого события вышла в свет третья книга стихов Гумилева, «Жемчуга», со вступительной статьей И. Пущаго «Николай Степанович Гумилев — поэт-конквистадор».

Сначала возлюбленной были посвящены «Романтические цветы», затем — жене — подарены «Жемчуга».

К 1910 году Николай Гумилев добился того, о чем думал и в гимназии и в Париже: он не просто стал известным поэтом, но и играл заметную роль в литературных делах.

Выпущенный издательством «Скорпион» сборник «Жемчуга» посвящен В. Я. Брюсову. Чтобы не было сомнений в том, почему именно, автор уточнил: «моему учителю». Действительно, насколько в «Романтических цветах» явно было влияние Бальмонта, кумира юности, настолько же явно в «Жемчугах» воздействие Брюсова.

Книга приобрела широкую известность, была сразу замечена литературной критикой. Дело тут, конечно, не только в ставшем к тому времени звучным имени и не только в упрочившемся положении Гумилева. Быть может, одних «Капитанов» было бы достаточно для того, чтобы понять, что «Жемчуга» — не продолжение раннего пути (несмотря на предисловие, где автор упорно называется «конквистадором»), а в какой-то степени уже и выбор нового, более самостоятельного. Подражания Брюсову или французским «парнасцам» не были опреде-

ляющими, потому что автор, как и в «Романтических цветах», словно умышленно, сам демонстрировал читателю лишь возможности своего дарования. И тем не менее форма, техника стиха не могли не привлечь. По этому поводу в рецензии на книгу Валерий Брюсов писал в «Русской мысли»: «Н. Гумилев не создал никакой новой манеры письма, но, заимствовав приемы стихотворной техники у своих предшественников, он сумел их усовершенствовать, развить, углубить, что, быть может, надо признать даже большей заслугой, чем искание новых форм, слишком часто ведущих к плачевным неудачам».

В то же время Брюсов и словно бы защищал явный уход автора этой книги от реальной жизни, от современности: «Он сам создает для себя страны и населяет их им самим со-творенными существами: людьми, зверями, демонами. В этих странах — можно сказать, в этих мирах — явления подчиняются не обычным законам природы, но новым, которым повелел существовать поэт; и люди в них живут и действуют не по законам обычной психологии...»

Здесь, думается, Брюсов защищает то, что ни в его, ни в чьей другой защите не нуждается, ибо речь в «Жемчугах» идет о жизни духа, который всегда современен и не может быть привязан к какому-нибудь отрезку времени. И более поздние критики вряд ли правы, упрекая автора книги в подражательстве и прилежных перепевах. Обаяние «Жемчугов» в том, что книга удивительно гармонична; а то, что в ней форма диктовала содержание, — тут уж что поделаешь: почерк, натура, художественная манера здесь главенствуют.

Нельзя забывать и о том, что как эта, так и последующие книги стихов принадлежат перу не только «чистого поэта», но в известной мере и теоретика литературы. Так, перед самым выходом «Жемчугов» в № 5 «Аполлона» под общим заголовком «Заметки о русской беллетристике» опубликованы размышления Гумилева о прозе М. Кузмина, а в № 6 — статьи «Фофанов и др.» и «Тэффи и др.» (как «Письма о русской поэзии» XI и XII).

Но несмотря на все это, сам Гумилев с упорством и без всякого кокетства продолжает называть себя учеником Брюсова, о чем и пишет ему: «Жемчуга — упражнения, — и я вполне счастлив, что Вы, мой первый и лучший учитель, одобрили их. Считаться со мной как с поэтом придется только через много лет».

Кстати, в этом же июльском письме из Царского Села он делится мыслями, достойными внимания, — о творчестве и о том, почему в его поэзии напрочь отсутствует политика. Он боится «расплескать тот запас гармоний и эстетической уве-

ренности, который так доступен, когда имеешь дело с мирами воображаемыми и которому так мало (по-видимому) места в действительности. Я верю, больше того, чувствую, что аэроплан прекрасен, русско-японская война трагична, город величественно страшен, но для меня это слишком связано с газетами, а мои руки еще слишком слабы, чтобы оторвать все это от обыденности для искусства».

Отзываясь на выход «Жемчугов», Вячеслав Иванов, который редко в чем соглашался с Валерием Брюсовым, на этот раз дал в «Аполлоне» во многом совпадающую с брюсовской оценку книги, хотя одновременно и упрекнул молодого поэта в излишнем подражательстве Брюсову, и предсказал, что Гумилев может пойти совсем по другому пути, нежели его учитель.

Среди многочисленных и разнооценочных рецензий на третью книгу Гумилева (были и такие, где «Жемчуга» назывались «фальшивыми камнями») пророческими оказались именно эти две — столичных мэтров: прав был Вячеслав Иванов, предрекая Гумилеву особый путь; прав был и Брюсов, уже тогда отметивший, что на поэтической карте появилась «страна Н. Гумилева». Если со страниц «Романтических цветов» на читателя большей частью взирали экзотические ягуары, львы, жирафы, «орел Синдбада» и т. д., то в «Жемчугах» исследуется мир души, а не внешних проявлений; философская струя здесь и чище, и мощней: от «Волшебной скрипки» до «Христоса», от «Завещания» до «Ворот Рая».

Как бы там ни было, но при подходе к «Жемчугам» не стоит забывать, что это — книга человека, всего пять лет назад выпустившего первый свой, ученический сборник. Разница между ними — первым и третьим — огромна. Более того, в «Жемчугах» уже зреет зерно будущего направления — того самого акмеизма, который, по убеждению Гумилева, должен будет спасти отечественную поэзию. Когда читаешь:

И апостол Петр в дырявом рубище,
Словно нищий, бледен и убог,—

понимаешь, что поэт и научился, и осмелился небесное опускать до земного, осязаемого, а не только земное возносить до романтических заоблачных высей.

В издании 1910 года «Жемчуга» состояли из четырех разделов: «Жемчуг черный» (25 стихотворений), «Жемчуг серый» (17 стихотворений), «Жемчуг розовый» (16 стихотворений) и «Романтические цветы» (18 стихотворений). Каждому разделу предпослан эпиграф. Последний раздел посвящен А. А. Горенко (в издании 1918 года, когда они уже не были мужем и женой, посвящение снято, так же как и общее посвящение

Валерию Брюсову: его имя осталось только над открывающим сборник стихотворением «Волшебная скрипка»). К 1918 году Гумилев ликвидировал в этой книге разделы, дав лишь подзаголовки «Стихи 1907—1910 гг.», изменил расположение произведений и вовсе исключил такие стихи, как «Одиночество», «В пустыне», «Адам», «Театр», «Правый путь», «Колдунья», «Уходящей», «Северный раджа».

Предоставив в 1910 году новой книге продолжать литературное существование, Гумилев и Ахматова уехали в свадебное путешествие — в Париж. Французская столица, конечно же, изменилась со времени последнего пребывания в ней Николая Степановича, но остались приятели, которым были нанесены визиты, и остались всегда привлекавшие поэта места — от многочисленных кафе до музеев, выставок, мастерских художников.

К лету, когда молодые вернулись из Франции, Николай Степанович стал подумывать об очередной поездке в Африку. Его по-прежнему влекла Аддис-Абеба. Он стал человеком семейным, но, кажется, это никак не сказалось на его жизненном распорядке, привычках и пристрастиях. С гордостью знакомил он друзей со своей женой — красивой стройной молчаливой женщиной, но семьянином в привычном смысле слова себя не ощущал. В царскосельском доме теперь было три Анны: мать поэта — Анна Ивановна, жена — Анна Андреевна и невестка (жена брата Димитрия) — Анна Николаевна, в своих мемуарах об этих днях, кстати, писавшая: «А. А. Ахматова была высокая, стройная, тоненькая и очень гибкая, с большими синими грустными глазами, со смуглым цветом лица. Она держалась в стороне от семьи. Поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и, войдя в столовую, говорила: „Здравствуйте все!“ За столом большей частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату; вечерами либо писала у себя, либо уезжала в Петербург».

Сама Ахматова подтверждала это, рассказывая потом Л. Чуковской: «У меня в молодости был трудный характер, я очень отстаивала свою внутреннюю независимость и была очень избалована... Это был поспешный брак». Вероятно, в семье Гумилевых это чувствовали, потому и на венчании никого из близких не было.

Впрочем, молодого мужа это, по-видимому, не очень волновало. По заведенному порядку он занят литературными делами — «Академией стиха» при «Аполлоне» и самим «Аполлоном», встречами с поэтами, продолжающейся перепиской с Брюсовым, которому он сообщает, что планирует месяцев пять пробыть в Африке — с сентября 1910 года. К этому времени им

опубликованы в «Аполлоне» статьи «Поэзия в „Весях“», «Анненский и др.», «Сологуб и др.», «Бунин и др.», «Жизнь стиха». А в № 12 появится поэма «Открытие Америки», рукопись которой Гумилев пошлет редактору «Аполлона» С. К. Маковскому 26 октября 1910 года из Порт-Саида.

Это время стало переломным для символизма, который входил в стадию глубокого кризиса. Ясно, что молодой поэт не мог стоять в стороне от развития современной ему литературы. Гумилев, хотя и был прилежным учеником, выше всего ставил самостоятельность выбора. Поэтому, в чем-то следуя внешней форме, по сути он не пошел ни за Валерием Брюсовым, ни за Вячеславом Ивановым. Он подводил собственные итоги, пусть это были даже итоги ученичества. Когда в «Обществе ревнителей художественного слова» Александр Блок и Вячеслав Иванов выступили с программными докладами о состоянии и дальнейшей судьбе символизма (оба доклада — «О современном состоянии русского символизма» и «Заветы символизма» — были затем опубликованы в № 8 «Аполлона»), стало ясно, что взгляды их слишком расходятся. Появившаяся в следующем номере журнала статья-ответ Брюсова «О „речи рабской“ в защиту поэзии» только подтвердила это.

Символизм как литературное течение и философская система терял свою целостность, а значит, разрушался. Соответственно не могла уже полностью удовлетворить Гумилева и «Академия стиха», в стенах которой это происходило. Как человек практического склада, он не мог довольствоваться лишь теоретическими рассуждениями, без их воплощения в жизнь. «Весы» закрылись, течение мельчало, родоначальники выясняли отношения. Все это вместе взятое в скором времени привело Гумилева к мысли о создании новой группы, которая заменила бы «Академию стиха», и нового направления, способного взять на себя роль ведущего.

Слова «Цех поэтов» и «акмеизм» еще не прозвучали, но до их рождения оставалось не так уж много времени, ибо и мысль о них, и необходимость в них уже появились.

Тысяча девятьсот одиннадцатый год Гумилев встретил, как и предыдущий, в Африке. А точнее — у Б. А. Черемзина, который давно жил в Абиссинии и помог Гумилеву завести необходимые знакомства, вплоть до знакомства с негусом, что помогло благополучно завершить дела. Наконец-то он дошел до Аддис-Абебы, о которой мечтал; увидел пустыню, услышал песни племен, собрал коллекцию бытовых предметов, ходил на охоту и т. д.

Снова, как и год назад, дорога в Россию заняла месяц: выехав из Джибути в феврале, домой он вернулся 25 марта

1911 года. К этому времени мать, Анна Ивановна, приобрела в Царском Селе дом на улице Малой, так как прежний требовал слишком больших расходов. Новый дом был двухэтажным, с флигелем, небольшим садом. Невестка Николая Степановича рассказывала: «А. И. с падчерицей и внуками занимали верхний этаж, поэт с женой и я с мужем — внизу. Тут же внизу находились столовая, гостиная и библиотека. После своего второго путешествия в Африку Коля внес в дом много экзотики, которая ему всегда нравилась. Свои комнаты он отделал по своему вкусу и очень оригинально. Вспоминается мне наша чуждая библиотека, между гостиной и Колиной комнатой. В библиотеке вдоль стен были устроены полки, снизу доверху наполненные книгами. В библиотеке во время чтения было принято говорить шепотом... Посреди не находился большой круглый стол, за которым читающие чинно сидели».

В этом доме Николай Степанович приходил в себя, выздоравливая после жестокой лихорадки, подхваченной им в Африке. Однако и болезнь не помешала ему уже через десять дней после возвращения, 5 апреля, сделать в редакции «Аполлона» доклад о своем путешествии, рассказать об искусстве народов и племен, среди которых удалось побывать. В апреле же на страницах любимого журнала он начинает публиковать очередную статью из цикла «Письма о русской поэзии» — «20 книг стихов» («Письмо» XVII).

Готовясь к поездке в Африку и размышляя о ней, Гумилев написал цикл стихов «Абиссинские песни», стихотворение «Набегала тень. Догорал камин...»; будучи уже в Абиссинии — «Лежал истомленный на ложе болезни...»; а вернувшись в Россию, завершил поэму «Блудный сын». Задумана она была, вероятно, давно, потому что уже 13 апреля Николай Степанович прочитал ее на очередном заседании «Общества ревнителей художественного слова». С присущей ей экспрессией Надежда Мандельштам затем (с чужих, увы, слов) напишет об этом случае: «Вячеслав Иванов подверг „Блудного сына“ настоящему разгрому. Выступление было настолько резкое и грубое („никогда ничего подобного мы не слышали“), что друзья Гумилева покинули Академию и организовали Цех поэтов в противовес ей».

Надо сказать, что поэма не давала поводов для подобного «разгрома», причина крылась не в ней, а в слишком уж различавшихся воззрениях Гумилева и Вячеслава Иванова на поэзию: Гумилев утверждал, что слово должно выражать то, что оно обозначает, а Иванов был близок к мистике, к многоплановому, неоднозначному толкованию слова.

Но и с выходом из «Академии стиха» и с созданием «Цеха поэтов» все происходило не столь уж моментально, как это следует из мемуаров Н. Мандельштам. Выход из «Общества ревнителей художественного слова» лишь ускорил создание «Цеха поэтов», а в самом «Обществе...» Гумилев вновь появился вместе с Недоброво и Чудовским с 30 ноября 1913 года — с дня, когда был вторично избран в его совет; и оставался Гумилев его активным участником вплоть до весны 1914 года, тем более что Вячеслав Иванов, сначала уехавший за границу, а затем перебравшийся в Москву, уже не интересовался «Академией» и не «княжил» в ней.

А еще через две недели Гумилев подает прошение в университет об увольнении. В качестве причины была указана болезнь, но на самом деле, вероятно, причина в том, что катастрофически не хватало времени, ведь его много требовалось на занятия литературой.

Наступало лето, и надо было подумать об отдыхе. Париж больше не привлекал Гумилева (теперь туда поехала жена, долго потом не забывавшая обаяние Франции), и он остановил свой выбор на родовом имении Слепнево. Оказалось: хорошие места, замечательная библиотека, прекрасные соседи — Кузьмины-Караваевы, Неведомские и Ермоловы. Здесь Гумилев совмещал обильное чтение с прогулками, сочинил для отдыхающих пьесу, но выкраивал время и для работы над стихами. Иногда писалось по два—три стихотворения в день; например: 10 июня — «Сомнение», «Девушке», «О признаньях»; 17 июня — «Райский сад», «Ангел-хранитель», «Вечерний медленный паук...». Всего же за слепневское лето было написано около сорока стихотворений и несколько статей.

Может быть, далеко не последнюю роль в таком творческом всплеске сыграла влюбленность Николая Степановича в свою дальнюю родственницу Марию Кузьмину-Караваеву. Это нельзя было скрыть, да сам Гумилев и не скрывал увлеченности, выискивая поводы для встреч, оберегая Машу, дожидаясь ее у двери спальни. Она сказала ему, что больна туберкулезом и что жизнь ее будет короткой. Увы, так и случилось. А образ слепневской Возлюбленной и Музы стал одним из самых трагичных в лирике Гумилева — в его «Заблудившемся трамвае»:

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла?

.....

Верной твердьнею Православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.

И все ж навеки сердце утрюмо,
И трудно дышать, и больно жить...
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

В начале августа, когда жаркие слепневские дни миновали, Гумилев решил поехать в Москву, к Валерию Брюсову. Поездка оказалась удачной как на новую встречу (Брюсов познакомил его с Николаем Клюевым), так и на свидание со старым знакомым Андреем Белым.

Несмотря на давнюю парижскую сцену, устроенную Гиппиус в присутствии Белого (и даже при пассивном его участии), Гумилев с достаточным почтением относился к известному поэту, внимательно следил за его творчеством: в самом первом гумилевском «письме о русской поэзии» уже встречается имя Белого. И в следующем, и в номерах 6 и 8 «Аполлона» за 1910 год, и в рецензии на «Антологию» издательства «Мусагет»... Более того, Андрей Белый однажды поставлен им рядом с Теофилом Готье, а это для Гумилева, преклонявшегося перед Готье, значило немало, о чем свидетельствует и появившаяся в № 9 «Аполлона» за 1911 год статья Гумилева о Готье.

Увлечение французскими «парнасцами» не было случайным. В их творчестве Николай Степанович видел то, что могло бы заменить угасающий символизм, — новое направление. Но параллельно он думал и над созданием литературного объединения, в котором могли бы работать его единомышленники. Так осенью 1911 года был задуман (сначала с Сергеем Городецким, а затем и с привлечением Лозинского, Зенкевича, Нарбута, Ахматовой, Мандельштама) «Цех поэтов». Первое заседание состоялось 20 октября, в квартире Городецкого на Фонтанке; а через 10 дней — и второе, в Царском Селе у Гумилева.

Принявший к этому времени участие в создании нескольких журналов и «Академии стиха», в которой верховодил все-таки не он, а Вячеслав Иванов, Гумилев на этот раз взял бразды правления в свои руки (союз с Сергеем Городецким был временным и в известной степени вынужденным). Убежденный в том, что стихи может писать каждый грамотный человек, овладевший техникой, «ремеслом», Гумилев и останавливается именно на таком названии — *цех*.

По словам Ахматовой, «все люди, окружающие Николая Степановича, были им к чему-нибудь предназначены... Напри-

мер, О. Мандельштам должен был написать поэтику...» Свое же предназначение Гумилев видел в том, чтобы руководить. Созданный «Цех» был как раз той организацией, и структура, и направленность, и порядки которой вполне импонировали ему. Разделив участников на «мастеров» («синдиков»), которых было всего два — он сам и Городецкий, — и «подмастерьев», Гумилев вменял в обязанности «подмастерьям» беспрекословное повиновение, работу над «вещью» по указанию «мастера» и запрет на публикацию без ведома «мастера» (для публикаций использовались «Аполлон» и созданные при «Цехе» журнал и издательство, которые назывались одинаково: «Гиперборей»).

Выдержать подобное мог далеко не каждый, и потому многие «подмастерья» в скором будущем покинут свой «Цех». Александр Блок, который был в «Цехе», кстати, единственный раз — на организационном собрании 20 октября, на Фонтанке, — назвал объединение «Гумилевско-Городецким обществом», а впоследствии записал: «Футуристы в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеизм. Последние — хилы, Гумилева тяжелит „вкус“, багаж у него тяжелый (от Шекспира до... Теофиля Готье), а Городецкого держат, как застрельщика с именем; думаю, что Гумилев конфузится и шокируется им нередко».

Собрания «Цеха» проходили не в одном месте, а поочередно — то у Гумилева в Царском Селе, то в столичных квартирах Городецкого, Лозинского, Кузьминых-Караваевых. Акмеизм как программа зародился именно в недрах «Цеха поэтов», но несколько позже. Поначалу «Цех», насчитывавший 26 членов, вбирал в себя представителей разных направлений, большей частью как раз не акмеистов.

Поколебавшись между выбором названия для нового течения — *акмеизм* или *адамизм* — родоначальники (Гумилев и Городецкий) остановились на *акмеизме*, производном от греческого *акме*: вершина, процветание. Впервые официально этот термин прозвучал 11 февраля 1912 года на очередном заседании «Академии стиха», где завязался спор между Вячеславом Ивановым, делавшим сообщение о символизме, и Гумилевым, выдвинувшим в противовес символизму собственное направление. Но к этому времени уже вышел — осенью 1911 года (датированный 1912-м годом) — «Литературный альманах», объединивший на своих страницах участников «Цеха поэтов» (Ахматова, Гумилев, Мандельштам и др.), символистов (А. Белый, Бальмонт, Блок) и «крестьянских» поэтов (Клюев, Клычков), а свои идеи Гумилев и Мандельштам частично высказали на собрании кружка «Вечера Случевского» (19 ноября 1911 г.) и на заседании «Общества ревнителей художе-

ственного слова», посвященном памяти И. Ф. Анненского (3 декабря 1911 г.). Так что все логически вело к февральскому накали страстей и полному разрыву с Вячеславом Ивановым, а также, естественно, к ослаблению связей с прежним, «башенным» кругом, в который входили поэты П. Потемкин, С. Ауслендер, М. Кузмин и другие.

Кульминационным моментом в этом споре, а одновременно и временем рождения акмеизма как направления, принято считать начало 1913 года, когда в первом номере «Аполлона» появились статьи Николая Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» и Сергея Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии» — манифесты новой школы. Но еще до этого, в 1912 году, вышла книга стихов Гумилева «Чужое небо», в которой уже видны подступы к акмеизму в том смысле, в каком понимал его тогда Гумилев.

Глава пятая

СВОЕ НЕБО

Я закрыл «Илиаду» и сел у окна.
На губах трепетало последнее слово.
Что-то ярко светило — фонарь иль луна,
И медлительно двигалась тень часового.

.....
Я печален от книги, томлюсь от луны,
Может быть, мне совсем и не надо героя...
Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.



Признавая, что «символизм был достойным отцом», Гумилев в своем программном «аполлоновском» выступлении об акмеизме заявил, что символизм все же «закончил свой круг развития и теперь падает». Проанализиро-

вав как отечественный, так и французский и германский символизм, он сделал вывод: «Мы не согласны приносить ему (символу) в жертву прочие способы воздействия и ищем их полной согласованности»; «...акмеистом труднее быть, чем символистом, как труднее построить собор, чем башню. А один из принципов нового направления — всегда идти по линии наибольшего сопротивления».

Мир надлежало принимать безоговорочно, непосредственно. Но следование выработанной эстетической программе привело к тому, что Блок затем назвал нежеланием «иметь тени представления о русской жизни и жизни мира вообще». Отчасти это было связано с тем, что своими учителями акмеисты считали Шекспира, Рабле, Франсуа Вийона и Теофиля Готье. В статье Гумилев утверждал, что «подбор этих имен — не произволен. Каждый из них — краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии». Акмеисты мечтали соединить воедино внутренний мир человека (Шекспир), «мудрую физиологичность» (Рабле), «жизнь, нисколько не сомневающуюся в самой себе, хотя знающую: всё — от Бога, и порок, и смерть, и бессмертие» (Вийон), и «достойные одежды безупречных форм» (Готье).

Но единственным, кому, как учителю акмеизма, сохранил приверженность сам Гумилев, даже когда он уже перерос созданную школу, был Готье. Его стихи Гумилев включил в книгу «Чужое небо» (чего никогда более не делал с переводными произведениями), а затем создал и самостоятельную книгу переводов «Эмали и камеи», о которой после гибели Гумилева, в некрологе, А. Я. Левинсон напишет: «Мне доныне кажется лучшим памятником этой поры в жизни Гумилева бесценный перевод „Эмалей и камней“, поистине чудо перевоплощения в облик любимого им Готье. Нельзя представить, при коренной разнице в стихосложении французском и русском, в естественном ритме и артикуляции обоих языков, более разительного впечатления тождественности обоих текстов. И не подумайте, что столь полной аналогии можно достигнуть лишь обдуманностью и совершенством фактуры, выработанностью ремесла; тут нужно постижение более глубокое, поэтическое братство с иностранным стихотворцем».

Видимо, в эстетической программе Теофиля Готье Гумилеву наиболее импонировали декларации типа: «Жизнь — вот наиглавнейшее качество в искусстве; за него можно все простить»; «...поменьше медитаций, празднословия, синтетических суждений, нужна только вещь, вещь и еще раз вещь». А непо-

средственно в поэтическом творчестве близко ему программное стихотворение Готье «Искусство», заканчивающееся словами:

Работать, гнуть, бороться!
И легкий сон мечты
Вольется
В нетленные черты.

Создавая «Цех поэтов», а за ним и акмеизм как организационно оформленное направление, Гумилев не отрицал достижений символизма полностью, а призывал взять из него лучшее. По воспоминаниям Ахматовой, именно тогда он сказал ей о символистах: «Они как дикари, которые съели своих родителей и с тревогой смотрят на своих детей». Сам он не желал быть «съеденным». Да, впрочем, это ему и не грозило, так как, в сущности, акмеиста из него не вышло.

Можно лишь улыбнуться, вспомнив, что как раз в пору акмеистских манифестаций Валерий Брюсов писал: «Надемся, что и Н. Гумилев, и С. Городецкий, и А. Ахматова останутся и в будущем хорошими поэтами и будут писать хорошие стихи. Но мы желали бы, чтобы они, все трое, скорее отказались от бесплодного притязания образовывать какую-то школу акмеизма... Всего вероятнее, через год или два не останется никакого акмеизма». Брюсов и после гибели Гумилева, в 1922 году, утверждал, что, в сущности, никогда Гумилев не был акмеистом.

Видимо, речь надо вести не столько об акмеизме как литературно значимой идее, сколько о личном глубоком увлечении Гумилева, которое он попытался распространить на более широкий круг людей, выводя его на уровень школы, течения, направления. Двадцатишестилетний Гумилев старается объяснить сущность «сочиненного», «придуманного» им (по выражению Городецкого) течения изящно, как лирик: «Одним словом, стихотворение должно являться слепком прекрасного человеческого тела, этой высшей ступени представляемого совершенства: недаром же люди даже Господа Бога создали по своему образу и подобию. Такое стихотворение самооценно, оно имеет право существовать во что бы то ни стало». Или, напротив, объясняет сухо, как ученый: «... на смену идет новое направление, как бы оно ни называлось: *акмеизм* (от слова *акме* — высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора) или *адамизм* (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), — во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и

объектом, чем то было в символизме». Но увлеченность не позволяет ему критически, со стороны, посмотреть на собственное изобретение. Это сделает более чем десятилетие спустя Ахматова, с удивительной простотою сказав об «акмеистах», в том числе и о себе:

«...акмеизм — это личные черты творчества Николая Степановича [Гумилева]. Чем отличаются стихи акмеистов от стихов, скажем, начала XIX века? Какой же это акмеизм? Реакция на символизм просто потому, что символизм под руку попался. Николай Степанович — если вчитаться — символист. Мандельштам: его поэзия — темная, непонятная для публики, византийская, при чем же здесь акмеизм? Ахматова: те же черты, которые дают ей Эйхенбаум и другие, — эмоциональность, экономия слова, насыщенность, интонация — разве все это было теорией Николая Степановича? Это есть у каждого поэта XIX века, и при чем же здесь акмеизм? С. Городецкий: во-первых, очень плохой поэт, во-вторых, он был сначала мистическим анархистом, потом — теории Вяч. Иванова, потом — акмеист, потом „Лукоморье“ и „патриотические“ стихи, а теперь — коммунист. У него своей индивидуальности нет. В 1913—1914 годах уже нам было странно, что Городецкий — синдик „Цеха“, как-то странно...»

Но такой взгляд на акмеизм выработался все же позднее, уже после гибели Гумилева. Что касается Городецкого, то Ахматова, вероятно, запомнила в 1925 году, когда говорила эти слова, что в 1913 году назрел конфликт Гумилева с Городецким, а 16 апреля 1914 года они окончательно объяснились и прервали всякие отношения; причиной явилось именно различие взглядов на акмеизм и на «Цех поэтов». Но поначалу, несмотря на всю странность и неестественность этого союза, он был необходим для дела; и распался, когда стал делу мешать. Гумилев был очень хорошим организатором, и ненужных, пустых людей вокруг него не водилось.

Тысяча девятьсот двенадцатый год вносит много нового как в творческую, так и в личную жизнь поэта. Несмотря на внешнее благополучие, отношения с Анной Андреевной становятся прохладными, что сказалось даже на совместной поездке в Италию, когда Гумилев некоторое время жил во Флоренции, а она — в Риме. Еще недавно Гумилев запрещал ей печатать стихи, и она прислушивалась к его мнению, к его советам; но вскоре дарование Ахматовой оценил Сергей Маковский, затем Вячеслав Иванов, и наконец, после выхода в свет ее книги стихов «Вечер», — сам Гумилев, признавший в жене интересного, значительного поэта. Но творчество творчеством, а семейная жизнь — все же иное. Здесь сошлись две любви

вместо одной; и обе слишком гордые, сложные и самолюбивые, чтобы им можно было выжить вместе. Об этом можно говорить долго, и когда-нибудь личные отношения Николая Степановича и Анны Андреевны послужат, неверное, основанием для драматического романа. Пока же вспомним небезынтересное наблюдение В. Срезневской, очень хорошо знавшей Гумилева и Ахматову:

«Я помню, раз мы шли по набережной Невы с Колей и мирно беседовали о чувствах мужчин и женщин, и он сказал: „Я знаю только одно, что настоящий мужчина — полигамист, а настоящая женщина моногамична“... У Ахматовой большая и сложная жизнь сердца... Но Николай Степанович, отец ее единственного ребенка, занимает в жизни ее сердца скромное место. Странно, непонятно, может быть, и необычно, но это так».

Единственный их сын, крещённый Львом, родился 1 (14) октября 1912 года в Петербурге, куда ранним утром они добрались из Царского Села. В стихах затем Ахматова назовет себя «дурной матерью», вероятно, имея в виду то, что в основном воспитывала сына не она, а мать Николая Степановича, взявшая ребенка в Слепнёво.

В стихах Гумилева эти и подобные факты жизни именно семейной (в отличие от жизни интимной, жизни чувственной) практически не нашли отражения. Другое дело — впечатления от поездок по Генуе, Пизе, Флоренции, Болонье, Падуе, Венеции: они стали основанием для целого цикла замечательных лирических и философских стихотворений. Поистине жизнь тела и жизнь души для поэта — разные жизни. Именно с увлечением акмеизмом связан осознанный выбор в учебе — переход с юридического факультета на историко-филологический, конкретно — на романо-германское отделение. Здесь Гумилев организует «Кружок романо-германистов» и «Кружок изучения поэтов» (где делает доклад о творчестве Теофиля Готье), читает старофранцузских поэтов, начинает изучать иностранные языки.

Наконец, в это же время выходит первый «цеховой» журнал «Гиперборей», который редактируют Гумилев, Городецкий и Лозинский. Тоненькие эти книжки горячо обсуждались в «Цехе поэтов», ибо главным, а иногда и единственным его разделом был поэтический. Заявлено было, что журнал состоит из десяти выпусков в год. Так, в общем, и получилось: за год его существования (с октября 1912 по декабрь 1913) вышло десять книжек. О сути названия Вадим Крейд пишет: «Само его название воспринималось как квинтэссенция гумилевской эстетики, ибо гиперборейцы — это хранители храма Аполлона,

мифическая раса вечно юных людей, наслаждавшихся непрерывным солнечным светом. Эта мифологема была наилучшим символом для рельефного выражения идей нарождавшегося акмеизма. Современники воспринимали „Гиперборей” как своеобразное отпочкование от „Аполлона”, ибо несколько поэтов одновременно сотрудничали в обоих журналах... Если не считать мало удавшейся попытки издавать журнал „Остров”, „Гиперборей”, благодаря Гумилеву, явился первым в России периодическим изданием, целиком посвященным модернистской поэзии».

В первом же, октябрьском, выпуске журнала Гумилев публикует рецензии на книги: «Зеркало теней» В. Брюсова, «За рево зорь» К. Бальмонта, «Осенние озера» М. Кузмина и «Горная тропа» Ю. Балтрушайтиса.

В этом (1912-м) году объем работы значительно возрастает. Маковский официально предлагает Гумилеву заведовать литературным отделом «Аполлона», и Николай Степанович принимает это приглашение. В «Аполлоне» публикуется большая часть его произведений, в том числе ставшие потом знаменитыми «Письма о русской поэзии»: «Брюсов, Зенкевич и др.», «Цветаева и др.», «В. Иванов и др.», «Блок и Кузмин», «Городецкий и Бестужев», «Г. Гуревич и др.». Кроме того, он как критик пишет о рассказах С. Ауслендера, об «Иве» С. Городецкого и «Дикой порфире» М. Зенкевича, об «эгофутуристическом» альманахе «Орлы над пропастью»; сочиняет пьесу «Игра» для кабаре «Бродячая собака» и т. д.

Читая заключительный абзац размышлений Гумилева о втором томе книги Брюсова «Пути и перепутья», понимаешь, что он говорит не только о Брюсове, но и о себе: «Уже давно люди привыкли считать поэтов чиновниками литературного ведомства, забыли, что духовно они ведут свой род от Орфея, Гомера и Данте. Брюсову поставлено в вину, что он это вспомнил». Это же «ставили в вину» и самому Гумилеву — как критику, как очень тонкому рецензенту.

В изданном наконец-то у нас в 1990 году томе гумилевской критики («Письма о русской поэзии», издательство «Современник»), куда вошли статьи и об отечественной прозе, и об иностранной литературе, и об изобразительном искусстве, составитель дает «Письмам» заслуженно высокую оценку, которой они безусловно достойны были и при своем появлении:

«Для современного читателя „Письма о русской поэзии” прежде всего — живая хроника поэтической жизни России с конца 1900-х до середины 1910-х гг. Здесь уделено равное внимание и творчеству наиболее выдающихся поэтов, и потоку

массовой литературной продукции эпохи. Наряду с поэтами-символистами в поле зрения критика находятся фигуры представителей направлений, противостоящих символизму, — акмеизма, футуризма и эгофутуризма, а также творчество поэтов, стоявших от этих направлений в стороне, шедших в поэзии своей, особой дорогой (Н. Клюев, М. Цветаева)...

...Автор считает своей главной задачей уловить и поддержать все жизнеспособные явления русской поэзии. Его не смущает ни различие представленных в ней направлений, ни несхожесть творческих индивидуальностей отдельных поэтов. Несмотря на свою горячую полемику с теоретическими и эстетическими доктринами русского символизма., Гумилев-критик отдает глубочайшую дань уважения Блоку, Брюсову, И. Анненскому, Вяч. Иванову. Он высоко оценивает творчество не только достаточно чуждого ему по своему поэтическому пафосу молодого Н. Клюева, но и В. Хлебникова. Поразительна та удивительная острота зрения, которая помогла Гумилеву в незрелых стихах первой полудетской книги Марины Цветаевой „Вечерний альбом” разглядеть будущего большого поэта. При этом следует особо отметить полное отсутствие у автора „Писем о русской поэзии” какого бы то ни было оттенка „сальеризма” — нередкой даже у крупных поэтов зависти к своим более одаренным собратьям по поэтическому цеху или недоброжелательности по адресу младших коллег. Бывая нередко беспощадным в тех приговорах, которые он выносит, Гумилев стремится быть в своих оценках максимально беспристрастным. Особенно обращает на себя внимание его умение сочувственно отыскать и положительно оценить следы поэтической одаренности, честного отношения к работе над словом и стихом в творчестве забытых сегодня поэтов второго и даже третьего ряда. Стремясь отделить в их стихотворениях и поэмах „пшеницу” от „плевел”, Гумилев выступает как требовательный и в то же время благожелательный воспитатель поэтической молодежи, горячо озабоченный завтрашним днем русской поэзии».

Но все же основным событием этого, 1912-го, года в творческом плане был выход книги стихов «Чужое небо», которая анонсировалась в марте, в № 6 «Русской художественной летописи», как только что вышедшая.

Несмотря на то, что это четвертый по счету авторский сборник поэта, в подзаголовке значилось: «Третья книга стихов», что свидетельствует об отношении Гумелева к сборнику «Путь конквистадоров», который он никогда не переиздавал (мы об этом уже упоминали).

«Чужое небо»... Африканское, под которым были написаны многие стихи? Или русское, поскольку стихов о России как таковой в ней нет? Или символизм, от которого отошел, — «чужое небо»? Или акмеизм, привнесённый на отечественную почву из книг и теорий французских поэтов?.. Любое из этих небес в определенное время жизни было для Гумилева своим.

«Чужое небо» — книга более «простая», чем предыдущие; может быть, именно потому, что в ней уже не демонстрируются умышленно достижения формы. В этом теперь нет нужды: всем, и самому себе, Гумилев уже доказал, что может, что формой овладел. Интересна книга и тем, что автор в ней представлен и как лирик, и как эпик (поэмы «Блудный сын» и «Открытие Америки»), и как драматург (одноактная пьеса в стихах «Дон Жуан в Египте»), и как переводчик (стихи Теофиля Готье).

Если исходить из того, что *акме* — расцвет, вершина, то «Чужое небо» действительно являет собой лучшую из вышедших до 1912 года книг Гумилева — по лиризму, по земным и в то же время возвышенным чувствам, по тщательной дозировке эмоционального (любовная лирика) и рационального («Искусство» Готье), экзотического, «конквистадорского», но уже в ином преломлении («Открытие Америки», «Абиссинские песни», «У камина») и приземленно-бытового («Из логова змиева...»).

Правда, следует обратить внимание на существенную деталь: сама-то книга вышла в свет до официально обнародованных манифестов акмеистов; это еще раз может служить подтверждением мысли, что при всем принципиальном отношении Гумилева к акмеизму собственное следование канонам нового течения было для него в известной мере условностью. Такая «вольность» вызвала даже нападки «сомастера» по «Цеху поэтов» Городецкого, который в «Гиперборее» критиковал стихотворение Гумилева о Фра Беато Анджелико, страстно вопрошая:

О, неужель искусство такое,
Виденья плотоядного монаха, —
Ответ на всё, к чему рвались с тоскою
Мы, акмеисты, вставшие из праха?

К началу 1913 года разногласия между «синдиками» стали достоянием публики: в литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака», где собирались литераторы и артисты Петербурга, Городецкий прочел лекцию «Символизм и акмеизм», вызвавшую не во всем положительную реакцию Гумилева, который тут же и выступил с возражениями.

В дальнейшем не раз придется упоминать название этого кабаре, открывшегося под Новый год, 31 декабря 1911 года, ибо десятки знаменательных событий случились здесь, десятки встреч, ссор и примирений. Поэтому есть смысл сделать небольшое отступление — рассказать об этом подвальчике на площади Искусств (тогдашней Михайловской), где Гумилев и Ахматова (да и не только они) любили сидеть до утра.

Итак, слово очевидцу и завсегдатаю В. Пясту:

«Сейчас много возводится поклепов на бедную издохшую „Собаку“... А вот не уютно ли: в час ночи в самой „Собаке“ только *начинается* филологически-лингвистическая (т. е. на самый что ни на есть скучнейший, с точки зрения обывателей, сюжет!) лекция юного Виктора Шкловского „Воскресение вещей“!

Во втором отделении, а иногда и с первого, после удара в огромный барабан молоточком Коко Кузнецова или кого другого, низкие своды „Собачьего подвала“ покрывает раскатистый бас Владимира Маяковского...

Иногда Маяковский, иногда Хлебников или Бенедикт Лившиц... Или застенчиво нежный, несмотря на свой внушительный рост, Николай Бурлюк...

Собственно, настоящих собак в „Собаке“ не водилось, по крайней мере почти. Была какая-то слепенькая мохнатенькая Бижка, кажется, но бродила она по подвалу только днем — когда если туда кто и попадал иной раз, то всегда испытывал ощущение какой-то сирости, ненужности; было холодновато, и все фрески, занавесы, мебельная обивка, все шандалы, барабан и прочий скудный скарб помещения — всё это пахло беловинным перегаром.

Ночью публика приносила свои запахи духов, белья, табаку и прочего, — обогревала помещение, пересиливала полугар и перегар... Итак, акмеисты: то есть Ахматова, Гумилев, Мандельштам — и потом так называемые „мальчики“ из „Цеха поэтов“ — Георгий Ив́анов, Георгий Ада́мович; потом другие „примыкавшие“ — будущие ученые, как то: В. Гиппиус, В. Жирмунский, — и сколько еще других! — одни чаще, другие реже, — но все отдавали дань „Бродячей собаке“.

Нам (мне, и Мандельштаму, и многим другим тоже) начинало мерещиться, что весь мир, собственно, сосредоточен в „Собаке“, что нет иной жизни, иных интересов, чем „Собачья“.

Лишь Блок никогда не появлялся в „Собаке“, всегда оставаясь „дневным человеком“...»

Кстати, о том, насколько богемная, ночная «Бродячая собака» была доро́га ее посетителям, говорит хотя бы тот факт,

что эмигрировавший после революции во Францию друг Гумилева П. Потемкин устроил в Париже «панихиду» по любимому кабаре, и на этой «панихиде» присутствовало немало бывших петербуржцев.

Это о ней, «Собаке», напишет позже Ахматова: «Да, я любила их, те сборища ночные». Любил и Г. Иванов («Петербургские зимы»), и И. Одоевцева («На берегах Невы»), и В. Шкловский («Жили-были»), и другие. Это было единственное место в ночной столице, где молодые люди искусства чувствовали себя как дома. Об этом рассказывал Б. Лившиц:

«...в нее, как в инкубатор, спешно переносили недовысиженные восторги театрального зала... Сюда же, как в термосе горячее блюдо, изготовленное в другом конце города, везли на извозчике, на такси, на трамвае свежеиспечённый триумф, который хотелось продлить, просмаковать еще и еще раз, пока он не приобрел прогорклого привкуса вчерашнего успеха...

...Затянутая в черный шелк, с крупным овалом каменей у пояса, вплывала Ахматова, задерживалась у входа, чтобы, по настоянию кидавшегося ей навстречу Пронина (Б. Пронин — владелец кабаре.— *И. П.*), вписать в „свиную“ книгу свои последние стихи, по которым простодушные „фармацевты“ (не завсегдатаи, желающие за плату попасть в кабаре.— *И. П.*) строили догадки, щекотавшие только их любопытство.

В длинном сюртуке и черном регате, не оставлявший без внимания ни одной красивой женщины, отступал, пятясь между столиков, Гумилев, не то соблюдая таким образом придворный этикет, не то опасаясь „кинжального“ взгляда в спину... Он сталкивался с нами почти каждый вечер в „Бродячей собаке“, где нередко досиживал до первого утреннего поезда, увозившего его в Царское Село».

В стенах этого кабаре, столь любимого Гумилевым, звучало немало слов и о его новой книге. Для истории же литературы остались опубликованные в «Аполлоне», «Новом слове», «Новой жизни», «Современнике», «Русской мысли», «Речи» рецензии М. Кузмина, В. Нарбута, М. Чуносова, Б. Садовского, С. Городецкого, В. Брюсова и других. В целом книга была принята поэтами и критиками благосклонно и оценена высоко, за исключением разве что рецензента журнала «Современник» Б. Садовского, который считал, что Гумилев «прежде всего не поэт», «бездарный стихотворец» и т. д. Но публикация «Современника» явно выбивалась из дружного хора положительных рецензий. М. Кузмин писал, что «своей новой книгой

Гумилев открыл широко двери новым возможностям для себя», что «мы отчетливее слышали его голос, его настоящий голос», а А. Блок признался, что стихотворения «Я верил, я думал...» и «Туркестанские генералы» он «успел давно полюбить по-настоящему», и выразил надежду: «...перелистываю книгу и думаю, что полюблю еще многое».

Блок был один из немногих, кто не обманулся «маской» Гумилева. Даже редактор «Аполлона» Сергей Маковский, хорошо знавший Николая Степановича и следивший за его творчеством, лишь спустя годы понял, что «настоящий Гумилев — вовсе не конквистадор, дерзкий завоеватель Божьего мира, певец земной красоты, т. е. не тот, кому поверило большинство читателей, особенно после того, как он был убит большевиками. Этим героическим его образом и до „Октября” заслонялся Гумилев-лирик, мечтатель, по сущности своей романтически-скорбный (несмотря на словесные бубны и кимвалы), всю жизнь не принимавший жизнь такой, какая она есть, убегавший от нее в прошлое, в величие дальних веков, в пустынную Африку, в волшебство рыцарских времен...»

Да, верно: в «Чужом небе» нет конквистадорского бряцанья, скрежета металла и намеренной холодности чувств. Здесь уже всё иное, ибо здесь живет душа, с ее болью, любовью, мечтами. Всё угадывается за строками, явственно угадывается.

Мне не нравится томность
Ваших скрещенных рук,
И спокойная скромность,
И стыдливый испуг.

Слепнёво, лето, Маша Кузьмина-Караваева, влюбленность на виду у всех, и у ревнующей Ахматовой тоже.

Из логова змиева,
Из города Киева
Я взял не жену, а колдунью
А думал — забавницу,
Гадал — своенравницу,
Веселую птицу-певунью.

Покликаешь — морщится,
Обнимешь — топорщится,
А выйдет луна — затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, — и хочет топиться.

Конечно же, это об Ахматовой: всё, включая не только портрет, но и «географию», и степень родства.

В «Чужом небе» подобной интимной лирики много, и она словно бы создает параллельную жизнь поэта — «жизнь после жизни», чувства, воскрешаемые в стихах и еще раз будоражающие душу.

Акмеизм ли это? Если да, то и слава Богу. Хотя почему акмеизм, а не символизм? Ведь ничем принципиально не отличаются эти замечательные стихи от не менее замечательной лирики символистов.

Я жду, исполненный укоров:
Но не веселую жену
Для задушевных разговоров
О том, что было в старину.

И не любовницу: мне скучен
Прерывный шепот, томный взгляд,
И к упоеньям я приучен,
И к мукам горше во сто крат.

Я жду товарища, от Бога
В веках дарованного мне
За то, что я томился много
По вышине и тишине.

И как преступен он, суровый,
Коль вечность променял на час,
Принявши дерзко за оковы
Мечты, связующие нас.

Для Гумилева каноны акмеизма, к счастью, не стали «оковами», что и позволило ему создать лучшие свои произведения и книги, включая последнюю и поистине вершинную в его творчестве — «Огненный столп».

В «Чужом небе», как и в предыдущей и последующих книгах, встречаются африканские мотивы, они здесь заявлены даже более отчетливо, чем раньше. Это следует принять как аксиому: Африка — постоянная его страсть, мечта, навязчивая идея. «Паломник» («Ахмет-Оглы берет свою клюку...») здесь соседствует с воспоминаниями о кипарисах, «благосклонном Гуссейне», властвующем Багдаде и странствующем Синдбаде; «и от египетской земли опять уходят корабли в великолепную Бассору»; и снова поэт мечтает, «чтоб повстречал меня Гуссейн в садах, где розы и бассейн, на берегу за старой Смирной».

Когда же... Боже, как чисты
И как мучительны мечты!
Ну что же, раньте сердце, раньте.
Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню
И буду плакать о Леванте.

Понятно, что при такой страсти трудно удержать себя от желания еще раз побывать в столь полюбившихся местах. И в скором времени Гумилев снова начнет собираться в экспедицию — самую значительную из всех, в которых он побывает; и снова в его книгах засверкают яркие африканские краски и зазвучат диковинные имена и названия. Но в «Чужом небе», несмотря на то что здесь помещены «Абиссинские песни» (кстати, современниками, до пояснения, они и воспринимались-то как именно абиссинские, а не как гумилевские стихотворения, навеянные путешествием), африканская тема интересна и другим — проникновением во внутренний мир героя, своим равноправием в этом мире с прочими страстями, даже с любовью. В стихотворении «У камина» герой рассказывает женщине о своих подвигах, походах, боях и горько сожалеет о том, что эта женщина привязала его к себе, к дому, к четырем стенам. В «Ослепительном» он улетает мыслями к далеким берегам, которые не так уж и давно покинул. Снова появляются в строках Константинополь и Босфор. И все же...

И все же «Чужое небо» — это книга стихов о любви. Бывшей, настоящей и грядущей. Явной и тайной. Молчаливой и громкой.

Да, в «Чужое небо», как ни в какую из дотоле изданных книг, вошла лирика, и Гумилев ей не противится, говорит ее языком, ибо это — язык истинной, большой поэзии, а Гумилев вышел из ученического возраста и состояния, и теперь о нем с полным основанием, без скидок, можно говорить как о мастере.

В это время к его мнению и рекомендациям прислушиваются, вера в его высокий профессионализм возрастает. Так, Корней Чуковский заказывает Гумилеву перевод Оскара Уайлда, тюремные записки которого произвели в свое время неизгладимое впечатление на Гумилева-юношу; в одной из лучших своих статей, «Жизнь стиха», он процитирует уайлдовскую мысль из «Истины лжи»: «...материал, употребляемый музыкантом или живописцем, беден по сравнению со словом. У слова есть не только музыка, нежная, как музыка альты или лютни, не только — краски, живые и ро-

скошные, как те, что пленяют нас на полотнах Венеции и Испанцев; не только пластичные формы, не менее ясные и четкие, чем те, что открываются нам в мраморе или бронзе, — у них есть и мысль, и страсть, и одухотворенность. Все это есть у одних слов».

В это же время он присутствует на заседаниях кружка «Вечера Случевского» и в марте на собрании у Н. Н. Вентцеля рекомендует в члены Кружка секретаря редакции журнала «Аполлон» Е. А. Зноско-Боровского, а в декабре — А. А. Ахматову (она баллотировалась 15 декабря 1912 года и была избрана). Немало сил отнимают «Цех поэтов» и «Гиперборей», о которых А. Левинсон напишет 25 ноября в «Театре»: «Образование этого цеха не только, думается мне, маскарадная причуда в средневековом роде; в этом прозвище, не случайно заимствованном из ремесленного быта, содержится обещание согласного и непритязательного сотрудничества».

Что касается аналогии «цех — акмеизм — средневековье», то она достаточно точно подмечена А. Левинсоном, ибо независимо от него О. Мандельштам, один из самых «странных» зачинателей акмеизма, признавал: «Средневековье дорого нам потому, что обладало в высокой степени чувством грани и перегородок. Оно никогда не смешивало различных планов и к потустороннему относилось с огромной сдержанностью. Благородная смесь рассудочности и мистики и ощущение мира как живого равновесия роднит нас с этой эпохой».

В этой связи можно вспомнить и гумилевское стихотворение «Средневековье».

Ритм, заданный в 1912 году, сохранился и в году следующем, характерном для акмеизма началом кратковременного расцвета, а для «Цеха поэтов» — утверждением. И «Гиперборей», и сам «Цех» Гумилев умело использует как трибуну для распространения своих воззрений; в частности, он продолжает настаивать на принципе высшего ремесленничества, отнимая у стихотворения право на мистику и оставляя за ним обязанность быть технически совершенным: «...в стихотворении я подразумеваю такую расстановку слов, подбор гласных и согласных звуков, ускорений и замедлений ритма, что читающий стихотворение невольно становится в позу его героя...»

Кроме того, 15 февраля 1913 года, сразу после публикации своего манифеста, акмеисты выступают в Литературном обществе (именно здесь, по словам Ахматовой, Н. Клюев якобы отрекся от акмеистов, ответив Гумилеву: «Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше...»).

Всё это не прошло зря: и течение, и «Цех», и журнал были замечены не только столичной, но и даже периферийной печатью: об акмеистах писали В. Брюсов в «Русской мысли», А. Долинин в «Заветах», Д. Философов в «Речи», В. Львов-Рогачевский в «Современнике»; о «Цехе поэтов» — И. Инсаров в газете «Нижегородец»; о «Гиперборее» — Г. Иванов в «Аполлоне».

Для Гумилева это было не менее важно, чем появление рецензий на собственные книги.

Впрочем, в это время, как и прежде, и сам он пишет и публикуется достаточно много: кроме традиционных «Писем о русской поэзии» и рецензий — стихи (большей частью в «Аполлоне» и «Ниве») и, конечно же, новые переводы из любимого им Теофиля Готье.

Кстати, о причине любви именно к Готье Н. Оцуп высказал оригинальную догадку: «Чрезвычайно высоко ставил он и Теофиля Готье, которого глубоко понял, превосходно перевел и которому посвятил замечательную статью. Готье современники тоже считали холодным. Гумилев с огненным своим, но затаенным горением принял обиду, нанесенную Готье, как свою собственную».

Но главным событием предвоенного, 1913-го, года для самого Гумилева стало его очередное путешествие в Африку — на сей раз с племянником, юным Николаем Сверчковым, которого в семье называли Колей-маленьким (в отличие от самого Гумилева, Коли-большого).

Зарекомендовавший себя как серьезный, наблюдательный исследователь, теперь Николай Степанович получает официальную командировку от Академии наук. Это была первая подобная экспедиция. В одном из словарей читаем о ней: «Был командирован Академией наук в качестве начальника африканской экспедиции на Сомалийский полуостров для изучения неисследованных племен галла, харраритов и др. и для составления коллекции предметов восточноафриканского быта по маршруту: Джибути — Дире — Дауа — Харрар — Шейх-Гуссейн — Гинир. Через полгода вернулся в Россию, привезя коллекции для музея антропологии и этнографии».

Об африканских экспедициях Гумилева можно было бы написать отдельную книгу. Частично написал ее сам поэт — в стихах книги «Шатер», в письмах, в «Африканском дневнике», недавно опубликованном, в рассказах.

Время, которое, как известно, многое безвозвратно уничтожает, все же иногда что-то и возвращает нам. Некая избранность. Так, было обнаружено 250 фотографических стеклянных

пластинок, отснятых Гумилевым в Абиссинии,— они считались утерянными. Удивительно, как за семь с половиной десятилетий (и каких!) стекло не разбилось,— мы увидели эти снимки в фильме «Африканская охота» (Ленинградская студия документальных фильмов, 1988).

В последнее свое путешествие на «черный континент» Николай Степанович собирался долго и тщательно, более месяца,— вещей оказалось много, и всё необходимо: оружие, боеприпасы, продукты, снаряжение и т. д. Перенапряжение завершилось сильной простудой (подозревали даже тиф), высокой температурой. Или, как кратко напишет затем в дневнике сам Гумилев:

«Приготовления к путешествию заняли месяц упорного труда. Надо было достать палатку, ружья, седла, вьюки, удостоверения, рекомендательные письма и пр. и пр.

Я так измучился, что накануне отъезда весь день лежал в жару. Право, приготовления к путешествию труднее самого путешествия».

В этой записи, сделанной затем по памяти, лишь одна неточность: не только «накануне отъезда весь день лежал в жару», но и в самый день отъезда тоже, и все уговаривали не вставать с такой температурой, побережь себя. Но слишком уж много было вложено в это путешествие, не только материально, но и — надежд, мечтаний, ожиданий,— слишком много, чтобы отказаться. И потом — он будто знал (хотя и никогда не верил), что это последняя его поездка в Африку. Поэтому нашлись и силы, и уверенность в себе: вечером 10 апреля 1913 года Николай Степанович Гумилев и Николай Леонидович Сверчков отбыли из Одессы на пароходе «Тамбов» и ровно через две недели были в Джибути.

Коля-маленький умрет очень молодым. Строки гумилевского стихотворения «Маэстро», опубликованного в «Жемчугах», сохраняют романтический образ юноши:

В красном фраке с галунами,
Надушенный, встал маэстро,
Он рассыпал перед нами
Звуки легкие оркестра.

Звуки мчались и кричали,
Как виденья, как гиганты,
И металась в гулкой зале,
И роняли бриллианты.

К золотым сбегали рыбкам,
Что плескались там в бассейне,

И по девичьим улыбкам
Плыли тише и лилейней.

Созидали башни храмам
Голубеющего Рая
И ласкали плечи дамам,
Улыбаясь и играя.

А потом с веселой дрожью,
Закружившись вокруг оркестра,
Тихо падали к подножью
Надушённого маэстро.

Это стихотворение посвящено Н. Л. Сверчкову; а затем ему будет посвящена и вся «африканская книга» Гумилева — сборник «Шатер».

Увы, до нас не дошли абиссинские воспоминания Николая Леонидовича, которые он писал. Хотя — Бог весть, может быть и они еще «всплывут», как те 250 фотопластин; сам же Н. Л. Сверчков был отравлен газами во время Первой мировой войны и умер от воспаления легких в 1919 году.

Наверное, в тех воспоминаниях есть строки и о путешествии через пустыню, и о том, как Гумилев едва не погиб по собственной неосторожности, и о многочисленных встречах — от посланника Чемерзина до принцессы Лидж; и о болезни, настигшей их... Пока обо всем этом мы знаем из «Африканского дневника» самого Николая Гумилева.

Объективно же: коллекция, собранная в Африке и с 26 по 30 сентября 1913 года (в Петербург вернулись 20 сентября) переданная командировавшему их Музею антропологии и этнографии Академии наук, возглавляемому академиком В. Радловым, по мнению специалистов, по своей полноте стоит на втором месте после коллекции, привезенной Миклухо-Маклаем.

И в Абиссинии о Гумилеве надолго сохранилась память как о дипломате и поэте. Ведь даже и бытовая память столь крепка, что А. Н. Гумилева, не запомнившая, что же привез Николай Степанович для Академии наук, спустя много лет отчетливо вспоминала, как он впервые показывал обитателям своего царскосельского дома чучело черной пантеры: «Было совсем темно, только яркая луна освещала стоящую черную пантеру. Меня поразили этот зверь с желтыми зрачками. Первый момент я подумала, что она живая. Коля был бы способен и живую пантеру привезти! И тут же, указывая на пантеру, Коля громко продекламировал: „...А ушедший в ночные пещеры Или к заводи тихой реки —

Повстречает свирепой пантеры — Наводящие ужас зрачки...» Привез Коля и красивого живого попугая, светло-серого с розовой грудкой».

Казалось бы, ничто уже не сможет характеризовать Гумилева столь полно, как слово *путешественник* (если не вести речь о поэзии). Но уже близилось трагическое для многих стран — и для России в первую очередь — событие, которое сделает Гумилева *воином*, закрепит за ним и это звание, — Первая мировая война.

После возвращения из Африки Николай Степанович с особым вкусом занимается литературными делами — редактированием «Гиперборея», последний, сдвоенный выпуск которого выйдет в декабре 1913 года; встречается с бельгийским поэтом Эмилем Верхарном, о котором писал еще в 1908 году; в ноябре читает новые стихи на проведенном романо-германским кружком «Вечере стихов», а в декабре — одноактную пьесу в стихах «Актеон» — на заседании «Общества ревнителей художественного слова».

Гораздо сложнее все было в семейной жизни. Как-то подруга Ахматовой, Валентина Срезневская, говоря о Гумилеве и Ахматовой, подметила, что «их отношения были скорее тайным единоборством». И в этом единоборстве Гумилев оказался слабее именно потому, что подчеркнуто старался быть более сильным, более свободным, независимым. Или, как скажет потом С. Маковский, «он переоценил свои силы и недооценил женщины, умевшей прощать, но не менее гордой и своевольной, чем он».

Вся эта драма, конечно же, так и осталась бы запретной для чужих ушей и глаз (по законам естественной этики), если бы не нашла отражения в творчестве этих двух замечательных поэтов нашего столетия. В стихах прослежено все: от начала —

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук, —

до завершения:

И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее распятие.

Между этими состояниями — не две строки паузы, а две параллельные драмы.

Ее:

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искавился мучительно рот.

Я сбежала, перил не касаясь,
И бежала за ним до ворот.

И его:

Я узнал, узнал, что такое страх,
Заключенный здесь, в четырех стенах...

И снова — ее боль, так и оставшаяся не замеченной им:

Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую!

Нет ничего в этом мире, что не имело бы начала и конца. В сущности, начало конца наступило еще перед поездкой в Италию, а после возвращения Гумилева из Африки это стало уже фактом. Любовь ушла. Остались другие чувства: нежность, дружба. Но они не заменяли утерянного. Может быть, именно поэтому, как бы в противовес постоянному «единоборству», к тому ж проигранному, возник тихий и спокойный роман с сестрой Георгия Адамовича — Татианой, которой будет посвящена следующая книга Гумилева, «Колчан».

Никогда и ни от кого не скрывавший своих увлечений (а их было немало), и из отношений с Татианой Адамович Николай Степанович не делал тайны. Почти три года длился их роман на глазах у семьи и общества, и Ахматова была даже рада, когда муж попросил ее о разводе. Но вмешалась властная мать Гумилева, Анна Ивановна, которую он любил и уважал, и все официально осталось на своих местах. Правда, причина была не в каких-то особых симпатиях свекрови, а во внуке, с которым любящая бабушка не желала расставаться.

Нельзя сказать, что разрыв семейных отношений стал трагедией для Гумилева: он слишком мало бывал дома, чтобы ощущать себя женатым человеком. Скорее, было уязвлено его самолюбие. Но пути судьбы непредугадаваемы, и ее ирония бывает порою злой: знать бы Гумилеву, в 1914 году на время поселившемуся у приятеля, В. Шилейко, что он живет у... будущего мужа Ахматовой, из-за которого она с ним, наконец, и разведется.

Отодвинув, как всегда, семейные неурядицы на третий план, Гумилев до самого начала войны много пишет, публикует собственные стихи и переводы, статьи и «Письма о русской поэзии»: об О. Мандельштаме, И. Анненском, Ф. Сологубе, А. Ахматовой, Г. Иванове, В. Ходасевиче и других. Со-бытием становится выход 1 марта 1914 года в издательстве

М. В. Попова сборника Теофиля Готье «Эмали и камни», переведенного Гумилевым. Эта книга сразу же вызвала оживленную реакцию в литературных кругах и была замечена самой широкой печатью — от «Саратовского вестника» до «Речи» и от «Киевской мысли» и «Раннего утра» до «Современника» и приложений к «Дню» и к «Ниве».

Культурная жизнь предвоенной столицы была богатой и разнообразной, но Гумилев ограничивал ее для себя привычным кругом: «Вечерами Случевского», Обществом поэтов (где, по свидетельству Н. В. Недоброво, 22 апреля Гумилев читал доклад об акмеизме), «Академией стиха» (именно здесь в феврале 1914 года впервые прозвучали поэма «Мик и Луи» и первая редакция африканской поэмы «Мик») и, естественно, «Цехом поэтов». Последний в это время отнимал немало сил, так как зимой произошел внутренний раскол «Цеха», а к весне «синдики» прекратили отношения. Но спасти «Цех» было уже нельзя — с началом войны он сам распался.

Правда, в этот, не такой уж узкий круг, в котором жил Гумилев, входила и неизменная «Бродячая собака», где начинались и заканчивались любовные истории; проклеивались словом, а затем уже и читались с эстрады стихи; звучали песни и целые спектакли, серьезные доклады и веселые розыгрыши. О, сколько богемных имен помнит входная книга для автографов! Как напишет потом С. Судейкин:

«Решалось все просто. А почему не устроить вечер романса Зои Лодий? А почему и не устроить? А почему не устроить вечер Ванды Ландовской? А почему и не устроить? А почему не устроить вечер Далькроза с конкурсом императорского балета, вечер „Цеха поэтов“, вечер чествования Козьмы Пруtkова, вечер современной музыки, доклад о французской живописи? А почему и не устроить?

Так осуществлялись вереницы вечеров».

Михайловская площадь, столь любимая Гумилевым из-за кабаре в подвальчике, была любима далеко не только им одним, но — по той же самой причине. Кстати, именно здесь родилось замечательное стихотворение, напоминающее гексаметры любимого Гумилевым Гомера: «Долго молили о танце мы Вас...», посвященное и подаренное балерине Т. П. Карсавиной, восхищавшей тогда не только столичных балетоманов.

С приближением лета Петербург пустел — многие уезжали на дачи, за город: наступал мертвый сезон.

Дом косой, двухэтажный,
И тут же рига, скотный двор,

Это — о родовом Слепнёве, доставшемся матери в наследство: деревянный дом; поляна с единственным дубом; парк, окруженный земляным валом; сад с огородом да дорога, ведущая к соседям: хочешь — к Неведомским в Подобино, хочешь — к Кузьминым-Караваевым в Борисково. Ахматова напишет потом о Слепневе: «Это — не живописное место: распаханное ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, „воротца“, хлеба, хлеба... там я написала почти всю „Белую стаю“...»

Гумилеву там было в некоторой мере интересно, сын Лев нуждался в свежем воздухе и потому жил с бабушкой, — таким образом к началу лета вся семья собралась в родовом имении, которое, впрочем, сам Гумилев через месяц покинул, отправившись к Татиане Адамович.

А еще через месяц, в июле, вернувшись в Петербург, он услышал, что в Европе началась война.

Что случилось тогда с ним, и не только с ним? Прозвучавший в Сараеве выстрел — какие струны он задел и разбудил? Гумилев, внутренне всегда готовый к бою, занялся «внешней» подготовкой к войне: с его косоглазием и плоскостопием это было не очень просто, особенно на первых порах. Наскоро простился с матерью и сыном, привез жену в столицу, и — за новые хлопоты, на время затмившие все литературные дела.

Конечно, можно здесь говорить о чертах характера Гумилева: о его стремлении идти навстречу опасности, о его бесстрашии, презрении к смерти и т. д. Но вот — спустя годы — Ахматова, говоря о «Колчане», роняет очень точную фразу: «Николай Степанович творит войну. Он — вершитель каких-то событий. Он — участник их...»

Вот оно, ключевое — *творит* войну. Творит прежде всего внутри себя, для себя. Это была его стихия — как и полная риска и приключений Африка, как схватки, в которых он любил главенствовать, как возможность показать себя, отличиться в боях за веру, царя и Отечество.

Спустя 24 дня после объявления войны, несмотря на полученное еще в 1907 году из-за астигматизма глаз освобождение от воинской службы, он добивается разрешения на то, чтобы стать добровольцем лейб-гвардии уланского полка.

Поэт...

Путешественник...

Начинала реализовываться третья основная его ипостась, завершающая триаду, теперь уже навек от него неотъемлемую, — воин.

Глава шестая

«ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ МЕРНО БЬЕТСЯ В ГРУДИ МОЕЙ...»

Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Всё он занят отливаньем пули,
Что меня с Землею разлучит.

.....
Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.



Гумилев был единственным из всех сотрудников «Аполлона», кто пошел на войну. Да, он был более прочих готов к этому шагу, да, его влекли опасности и неизвестность, но все же есть лишь доля правды, а не вся правда в наблюдении Андрея Левинсона: «Его переживание войны было легким, восторженным; подвиг был радостным. Сборник „Колчан“, памятка об этой поре, свидетельствует об этом состоянии его души, просветленном и экзальтированном».

Этот человек всю жизнь играл трудную роль — самого себя; на сей раз был изобретён такой имидж: спокойного,

безразличного к смерти, умелого воина. Все получилось на «отлично». Однако ж высказывание Гумилева о Блоке: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев» — разве это высказывание не выдаст глубинных движений души самого Гумилева, его отношения к войне не только как к месту, где добывается слава, но и как к кострищу, на котором «жарят соловьев»?

В 1944 году Анна Ахматова напишет:

Две войны, мое поколение,
Освещали твой страшный путь.

До второй войны Николаю Гумилеву не суждено было дожить. Даже если б его пропустил через себя расстрельный двадцать первый год, все тою же стенкой вырос бы тридцать седьмой. Но в Первой мировой ему слышались не только шаги по «страшному пути», а и иные мотивы:

Солдаты громко пели, и слова
Невнятны были, сердце их ловило.
— «Скорей вперед! Могила, так могила!
Нам ложем будет свежая трава,
А пологом — зеленая листва,
Союзником — Архангельская сила».

Как и ко всему, что делал, к своему участию в войне Гумилев отнесся крайне серьезно. Добившись зачисления в армию «охотником» (т. е. добровольцем, по собственной охоте) и выбрав кавалерию, он стал совершенствоваться в езде и фехтовании, упражняться в стрельбе с левого плеча. В результате к концу восьмидневной краткой подготовки под Новгородом, несмотря на косоглазие, он стал лучшим в стрельбе.

Война только начиналась. Но Гумилев сразу же стал ее составной частью, подчинился ее законам. Уйдя на фронт, он, естественно, выбыл из литературной столичной жизни и не мог на нее влиять. В ином, военном мире создавалась и иная поэзия, которая затем войдет в его сборник «Колчан». Стихи, написанные им на фронте, значительно отличаются не только от «Жемчугов», но и от «Чужого неба», — достаточно прочитать хотя бы «Наступление», чтобы увидеть это отличие: здесь и эмоциональные оценки, и трагизм, и желание понять тайны жизни и смерти, что выводит стихотворение на философский уровень.

О том, что служил Гумилев прилежно и отличался храбростью, свидетельствует и быстрое его продвижение до прапорщика, и награждение двумя Георгиевскими крестами — IV и III степеней, — которые давались за исключительное мужество.

Будучи назначенным 23 сентября 1914 года в маршевый эскадрон лейб-гвардии уланского Ее Величества полка, через три месяца Николай Степанович уже столь явно показал себя, что 24 декабря был награжден первым Георгиевским крестом и одновременно произведен в ефрейторы, а еще спустя месяц, 15 января 1915 года, — в унтер-офицеры.

По воспоминаниям современников, в воинской дружбе он был верен, в бою — отважен, даже безрассудно храбр. Вот что, например, рассказывал А. В. Посажной, бывший тогда штаб-ротмистром, о случае, когда его, прапорщика Гумилева и штаб-ротмистра Шахназарова обстреляли с другого берега Двины немецкие пулеметчики. Оба штаб-ротмистра спрыгнули в окоп, «Гумилев же нарочно остался на открытом месте и стал зажигать папиросу, бравируя своим спокойствием. Закурив папиросу, он затем тоже спрыгнул с опасного места в окоп, где командующий эскадроном Шахназаров сильно разнес его ненужную в подобной обстановке храбрость — стоять без цели на открытом месте под неприятельскими пулями».

В четырехтомном собрании сочинений Николая Гумилева, изданном в Вашингтоне (1962—1968), кроме этого воспоминания, собрано и немало других, говорящих о том, что и в полку он старался не выходить из сферы творчества (естественно, насколько позволяла обстановка): писал и читал стихи, рисовал, даже вел споры о поэтике, когда попадался собеседник.

Давно сложившееся мнение о Николае Гумилеве как о человеке хладнокровном, безрассудной храбрости и невероятной выдержки, думается, основано лишь на том, что сам он демонстрировал окружающим эти качества, заслоня умышленной демонстрацией истинную суть души. Более поздние размышления С. Маковского подтверждают это, и к ним есть смысл прислушаться:

«Наперекор пиитическому унынию большинства русских поэтов, Гумилев хотел видеть себя „рыцарем счастья“. Так и озаглавлено одно из предсмертных его стихотворений (в „Неизданном Гумилеве“ Чеховского издательства):

Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,—
Я каждого счастливым сделать волен.

.....

Пусть он придет! Я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,

Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.

А если все-таки он не поймет,
Мою прекрасную не примет веру
И будет жаловаться в свой черед
На мировую скорбь, на боль,— к барьеру!

Таким счастливым „бретёром” и увидело его большинство критиков».

Читатели вышедшего 15 декабря 1915 года гумилевского «Колчана» согласятся с С. Маковским. По замыслу автора, «Колчан» должен был собрать в себе стихи-«стрелы», передающие состояние человека на войне: «Война», «Наступление», «Смерть», «Пятистопные ямбы» и другие.

Но, по счастью, немало в этом же «Колчане» и стрел Амура, и философской лирики. Война, являясь для Гумилева важным событием личной биографии, судьбы, все же не была для него способом творческого самоутверждения. Да, здесь важны первые эмоциональные оценки:

И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Важны и более глубокие, на грани трагизма, открытия:

Я кричу, и мой голос дикий —
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.

Важны и спокойные констатации:

И так сладко рядить победу,
Словно девушку в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

Но не менее, а быть может, как раз и более важно в этой книге иное — духовный мир героя, на котором все чаще и чаще останавливает свой пристальный взор автор.

Каждая книга Гумилева — итог сделанного им на момент ее выхода. Не исключение и «Колчан». Но в «Колчане» уже

не отчет, а движение души, осмысление жизни духа. Не случайно здесь представлены почти все этапы короткой жизни поэта вплоть до 1915 года: прощание с ученичеством («Памяти Анненского»); стихи, навеянные поездкой в Италию («Венеция», «Рим»); «домашние» строки («Старые усадьбы»); африканские стихи — как воспоминание о былых путешествиях («Африканская ночь» и др.), стихи военные. И — философская лирика, свидетельствующая о серьезнейшей работе души, которая «Глас Бога слышит в воинской тревоге И Божьими зовет свои дороги», при этом задаваясь вопросами, доселе ее не волновавшими, и совершая открытия, ранее ей недоступные. Будь то:

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда.
Все, что смещит ее, надменную, —
Моя единая отрада.

Или — немыслимое для конквистадора откровение:

Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной.

Или — предельно осмысленное утверждение:

...символ горнего величья,
Как некий благостный завет,
Высокое косноязычье
Тебе даруется, поэт.

Одно из лучших произведений сборника — поэма «Пятистопные ямбы». Оно, как узором по ковру, выткано нитями лет и дней, формировавших основу души поэта, оно подводит итог всему предыдущему творчеству: и любовь, и путешествия, и война, и экзотика нашли отражение в этой поэме. После нее от Гумилева можно было ожидать и взлетов и падений, но только не повторения.

Как же был прожит и чем наполнен год, предшествовавший выходу в свет «Колчана»? Год, сумевший столь резко изменить многие — и жизненные, и творческие — воззрения человека?

Конец четырнадцатого и пятнадцатый год полнее всего прослеживаются по письмам и «Запискам кавалериста», которые Николай Гумилев публиковал с 3 февраля 1915 по 11 января 1916 года в газете «Биржевые ведомости» с пометкой «От нашего специального военного корреспондента».

Вначале — два письма к Ахматовой (они хранятся сейчас в знаменитом архиве Павла Лукницкого).

«Дорогая моя Аничка, я уже в настоящей армии, но мы пока не сражаемся и когда начнем, неизвестно. Все-то приходится ждать, теперь, однако, уже с винтовкой в руках и с опущенной шашкой. И я начинаю чувствовать, что я — подходящий муж для женщины, которая „собирала французские пули, как мы собирали грибы и чернику“. Эта цитата заставляет меня напомнить тебе о твоём обещании быстро дописать твою поэму и прислать ее мне. Право, я по ней скучаю. Я написал стишок, посылаю его тебе, хочешь продай, хочешь читай кому-нибудь. Я ведь утерять критические способности и не знаю, хорош он или плох.

Пиши мне в 1-ю дейст. армию, в мой полк Ее Величества. Письма, оказывается, доходят, и очень аккуратно.

Я все здоровею и здоровею: все время на свежем воздухе (а погода прекрасная, тепло, скачу верхом, а по ночам сплю как убитый).

Раненых привозят немало, и раны всё какие-то странные: ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги. Под одним нашим уланом пуля пробила седло как раз в тот миг, когда он приподнимался на рыси, секунда до или после, и его бы ранило.

Сейчас случайно мы стоим на таком месте, откуда легко писать. Но скоро, должно быть, начнем переходить, тогда писать будет труднее. Но вам совершенно не надо беспокоиться, если обо мне не будет известий. Трое вольноопределяющихся знают твой адрес и, если со мной что-нибудь случится, напишут тебе немедленно. Так что отсутствие писем будет обозначать только то, что я в походе, здоров, но негде и некогда писать. Конечно, когда будет возможность, я писать буду.

Целую тебя, моя дорогая Аничка, а также маму, Леву и всех. Напишите Коле-маленькому, что после первого боя я ему напишу. Твой Коля».

Вероятно, возможность написать вскоре представилась, и Анна Андреевна получила от мужа, с которым они давно уже не были близки, новое пространное письмо:

«Дорогая моя Аничка, наконец могу написать тебе довольно связно. Сажу в польской избе перед столом на табурете, очень удобно и даже уютно. *Вообще война мне очень напоминает мои абиссинские путешествия* (курсив мой.— И. П.). Аналогия почти полная: недостаток экзотичности покрывается более сильными ощущениями. Грустно только, что здесь инициатива не в моих руках, а ты знаешь, как я привык к этому. Однако и повиноваться мне не трудно, особенно при таком милом ближайшем начальнике, как у меня. Я познакомился со всеми офицерами своего эскадрона и часто бываю

у них. Это меня выделяет среди солдат, хотя они и так относятся ко мне хорошо и уважительно. Если бы только почаще бои, я был бы вполне удовлетворен судьбой. А впереди еще такой блистательный день, как день вступления в Берлин! В том, что он наступит, сомневаются, кажется, только „вольные“, т. е. не военные. Сообщенья Главного штаба поражают своей сдержанностью, и по ним трудно судить о всех наших успехах. Австрийцев уже почти не считают за врагов, до такой степени они не воины; что касается германцев, то их кавалерия удирает перед нашей, наша артиллерия всегда заставляет замолчать их, наша пехота стреляет вдвое лучше и бесконечно сильнее в атаке, уже потому, что наш штык навинчен с начала боя и солдат стреляет с ним, а у германцев и австрийцев штык закрывает дуло и поэтому его надо надевать в последнюю минуту, что психологически невозможно.

Я сказал, что в победе сомневаются только вольные, не отсюда ли такое озлобление против немцев, такие потоки клеветы на них в газетах и журналах? Ни в Литве, ни в Польше я не слыхал о немецких зверствах, ни об одном убитом жителе, изнасилованной женщине. Скотину и хлеб они действительно забирают, но, во-первых, им же нужен провиант, а во-вторых, им надо лишить провианта нас; то же делаем и мы, и поэтому упреки им косвенно падают и на нас — а это несправедливо. Мы, входя в немецкий дом, говорим „gut“ и даем сахар детям, они делают то же, приговаривая „карошъ“. Войско уважает врага; мне кажется, и газетчики могли бы поступать так же. А рождается рознь между армией и страной. И это не мое личное мнение, так думают офицеры и солдаты, исключения редки и трудно объяснимы или, вернее, объясняются тем, что „немцеед“ находится все время в глубоком тылу и начитался журналов и газет.

Мы, наверно, скоро опять попадем в бой, и в самый интересный, с кавалерией. Так что вы не тревожьтесь, не получая от меня некоторое время писем, убить меня не убьют (ты ведь знаешь, что поэты — пророки), а писать будет некогда. Если будет можно, после боя я пришлю телеграмму, не пугайтесь, всякая телеграма непременно успокоительная.

Теперь про свои дела: я тебе послал несколько стихотворений, но их в „Войне“ надо заменить, строфы 4-ю и 5-ю про дух следующими:

Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся над сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,
Их сердца горят перед Тобою,
Восковыми свечами горят.

Но тому, о Господи, и силы... и т. д.

Вот человек предполагает, а Бог располагает. Приходится дописывать письмо стоя и карандашом.

Вот мой адрес: 102-я полевая контора, остальное все, как прежде. Твой всегда *Коля*».

Это — письма первого периода войны, когда реальность еще не вытеснила и не деформировала неиссякаемый гумилевский романтизм. Письма же конца шестнадцатого года уже не столь нейтральны: к тому времени надоела такая война, бессмысленные смерти и сама по себе расплывчатая конечная цель вселенской бойни.

Жизнь, приняв на свой алтарь эмоциональные жертвенные возлияния, не отменила будней. Пятого марта 1915 года студент Гумилев (да, так, хотя об этом все уж позабыли!) был «уволен из числа студентов университета как не внесший плату за осень 1914 г.»

Осень 1914 года... Тогда Гумилев, окончив первый кратчайший курс воинской науки, разговорившись с таким же, как сам, уланом (в дальнейшем — ротмистром) Ю. Янишевским, предложил: «Такой человек мне нужен; когда кончится война, едем на два года на Мадагаскар...»

Тогда подобная мечта еще казалась не столь уж сказочной: вот кончится война, и потом... Но война только начиналась, и одному Богу было ведомо, когда, чем и как она завершится — и для страны в целом, и для каждого человека в отдельности.

Вскоре после того, как приказом по Гвардейскому кавалерийскому корпусу Николай Гумилев был награжден Георгиевским крестом IV степени и переименован в ефрейторы, а затем, 15 января, произведен в унтер-офицеры, судьба забросила его в родной Петроград.

К этому времени «Цех поэтов» благополучно распался, что еще раз подтвердило: именно Гумилев был в нем стержнем, основным звеном. Но, кажется, в те месяцы он, всецело еще занятый ритмами войны, не слишком сожалел о распаде «Цеха» — ибо и себя ощущал сначала как воина, а затем уж как поэта, и окружение воспринимало его точно так же. Особенно во время первой краткой командировки в Петроград, когда в «Привале комедиантов», пришедшем на смену «Бродячей собаке», он читал 28 января стихотворения «Свя-

щенные плывут и тают ночи...», «Война» и другие. Ему рукоплескали не только за сравнение:

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,

но и за саму форму, в которой он был,— за Георгия на груди.

В тот вечер его, конечно же, избрали мэтром эстрады, и он мог давать слово и лишать его. Когда одна из дам попросила Николая Степановича позволить выступить Александру Толмачеву, мэтр эстрады, вспомнив довоенные разногласия, громко произнес: «Я не могу допустить, когда я мэтр эстрады, выступление футуриста». А завсегдатаи тут же, видимо, вспомнили выпуск «Рыкающего Парнаса» и манифест будетлян «Идите к чёрту!», столь глубоко оскорбивший Гумилева, что он стал избегать общения с представителями противоположного стана. Пример с А. Толмачевым подтвердил, что стойкую антипатию даже война не в силах отменить.

Стихотворение «Священные плывут и тают ночи...», не вошедшее затем ни в один из авторских сборников, не случайно было прочитано в «Привале комедиантов» наряду со стихами о войне. Ибо здесь грусть по былому смешивалась с уверенностью в себе, а все это увязывалось с самыми светлыми именами в биографии автора и с самыми теплыми воспоминаниями, в свою очередь связанными с этим подвальчиком, с этим кабаре:

Священные плывут и тают ночи,
Прносятся эпические дни,
И смерти я заглядываю в очи,
В зеленые, болотные огни.

Она везде — и в зареве пожара,
И в темноте, неожиданна и близка,
То на коне венгерского гусара,
А то с ружьем тирольского стрелка.

.....

Весь день томясь от непонятной жажды
И облаков следя крылатый рой,
Я думаю: «Карсавина однажды
Как облако плясала предо мной».

А ночью в небе, древнем и высоком,
Я вижу записи судеб моих
И ведаю, что обо мне, далеком,
Звенит Ахматовой сиренный стих.

Так не умею думать я о смерти.
И всё мне грезятся, как бы во сне,
Те женщины, которые бессмертье
Моей души доказывают мне.

О том, что это стихотворение было прочитано, тут же сообщил ближайший выпуск «Петроградского курьера». А Анна Ахматова затем дополнила, что «сиренный стих» — значит: голосом Сирены.

Впрочем, в ее стихотворении, посвященном мужу, — «Колыбельная», — явно видится не только отношение к войне, но и ощущение происходящего как именно горя:

Было горе, будет горе,
Горю нет конца.
Да хранит святой Егорий
Твоего отца.

На следующий день после оказанного ему теплого приема в любимом кабаре Гумилев, до марта еще числящийся студентом университета, читает свои стихи в романо-германском кружке. Присутствовавший при этом Ю. А. Никольский писал: «Он читал свои стихи не в нос, а просто, и в них самих были отражающие истину моменты — недаром Георгий на его куртке. Это было серьезно — весь он, — и благоговейно».

Несмотря на не слишком располагающую к творчеству обстановку, на болезни (так, зимой пришлось два месяца пролежать в столичном лазарете из-за воспаления почек), и в 1915 году имя Гумилева не исчезает с газетных и журнальных страниц. Кроме вышедшего в конце года «Колчана», он публикует два десятка стихотворений в «Аполлоне», «Невском альманахе», «Биржевых ведомостях», «Вершинах», «Новом журнале для всех», «Русской мысли» и других изданиях. В некоторой степени его фамилия даже входит в моду: восемь стихотворений, подписанных «Н. Гумилев», опубликовала в нескольких номерах газета «Северная звезда», известившая читателей затем, в десятом номере, что стихи принадлежат не этому поэту.

Лишь в одном номере «Аполлона» (десятом) было напечатано продолжение «Писем о русской поэзии», но эта публикация — довольно обширный обзор поэтической жизни пятнадцатого года: оцениваются книги М. Долинова, М. Левберг, А. Пучкова, Тихона Чурилина, Г. Гагарина и других.

Имя Гумилева ставили рядом с именем Блока, одна из статей — И. Оксенова — называлась: «Взыскательный художник». Критика военного времени пыталась понять, осмыс-

лить, как развивается литература в иных условиях, чем еще год назад; и не случайно в аполлоновском обзоре (№ 4—5) Г. Иванова «Военные стихи» полностью цитируется стихотворение Гумилева «Как могли мы прежде жить в покое...» (названное потом: «Солнце духа»): в этом произведении нет фанфар и барабанного боя, нет даже прямого упоминания о боях, о фронте, но есть в нем, читанном в январе в «Бродячей собаке», опубликованном в «Невском альманахе жертвам войны» и включенном затем в «Колчан» (т. е. обнародованном минимум трижды в течение года), уже новый взгляд на войну — как на раздел времени и судьбы на две части, «до» и «теперь»:

Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезаром бое,
О рокочущей трубе побед.

Как могли мы... но еще не поздно,
Солнце духа наклонилось к нам.
Солнце духа благостно и грозно
Разлилось по нашим небесам.

Расцветает дух, как роза мая.
Как огонь, он разрывает тьму.
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.

В дикой прелести степных раздолгий,
В тихом таинстве лесной глуши
Ничего нет трудного для воли
И мучительного для души.

Чувствую, что скоро осень будет,
Солнечные кончатся труды
И от древа духа снимут люди
Золотые, зрелые плоды.

Но более всего внимание к Николаю Гумилеву в 1915 году было привлечено благодаря его «Запискам кавалериста», которые появлялись в утренних выпусках «Биржевых ведомостей». Печатались они крайне нерегулярно, но в целом получилось двенадцать публикаций за год: 3 февраля, 3 мая, 19 мая, 3 июня, 6 июля, 4 ноября, 22 ноября, 5 декабря, 13 декабря, 14 декабря, 19 и 22 декабря.

«Африканский дневник», в котором Гумилев дотошно описывал путешествие, явился словно репетицией дневника военного. Автор «Записок кавалериста» не менее скрупулезно

и последовательно фиксирует происходящее. Однако интересны «Записки» не только рассказами о событиях, боях, но и личным отношением Николая Гумилева к происходящему, что делало написанное своего рода расширенной биографической справкой. В самом деле, разве только сухой отчет о разведке — хотя бы вот такой эпизод:

«— А теперь айда! — шепнул взводный с веселым и взволнованным лицом, и мы побежали. Лес вокруг нас ожил. Гремели выстрелы, скакали кони, слышалась команда на немецком языке. Мы добежали до опушки, но не в том месте, откуда пришли, а много ближе к врагу. Надо было перебежать к перелеску, где, по всей вероятности, стояли неприятельские посты.

После короткого совещания было решено, что я пойду первым, и если буду ранен, то мои товарищи, которые бегали гораздо лучше меня, подхватят меня и унесут. Я наметил себе на полпути стог сена и добрался до него без помехи. Дальше приходилось идти прямо на предполагаемого врага. Я пошел, согнувшись и ожидая каждую минуту получить пулю вроде той, которую сам только что послал неудачливому немцу. И прямо перед собой в перелеске я увидел лисицу. Пушистый красновато-бурый зверь грациозно и неторопливо скользил между стволов. Не часто в жизни мне приходилось испытывать такую чистую, простую и сильную радость. Где есть лисица, там наверное нет людей. Путь к нашему отступлению свободен».

Как видим, это не сухой отчет для газеты, а достаточно интересная проза, где переживания героя (автора) занимают читателя и сами по себе, помимо информационного повода.

Или такие наблюдения: «Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключаящему возможность быстрого отступления...»; «Но вот и конец пахотному полю — и зачем люди придумали только земледелие?! — вот канава, которую я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: „Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б Вас убили“. Я вполне с ним согласен»; «Новый снаряд разорвался прямо над нами, ранил двух лошадей и прострелил шинель моему соседу. Где рвались

следующие, мы уже не видели. Мы скакали по тропинкам холеной рощи вдоль реки под прикрытием ее крутого берега»; «И в довершение я получил очень ценный практический совет. Чтобы не озябнуть, никогда не ложиться в шинели, а только покрываться ею...»

Как в «Биржевых ведомостях», так и в нынешних публикациях (первая после 1916 года — в 1989 году, в журнале «Москва») «Записки кавалериста» изобилуют строками сплошных точек в каждой главе. Так обозначены места, выкинутые военной цензурой, а полный текст пока не известен. Гумилев вынужден был также скрывать названия населенных пунктов, фамилии (так, за словами «поручик Ч.» сокрыт поручик Чичагов, которому Гумилев посвятил стихотворение «Война»; за словами «носитель одной из самых громких фамилий в России» — князь Долгоруков и т. д.). Однако учет требований цензуры еще больше приближал репортажные записки к художественной прозе.

Осенью 1915 года Николай Степанович снова в столице, на сей раз из-за перевода его из улан в гусары, а точнее — в 5-й Александрийский гусарский полк. Дело несколько затянулось, и лишь 28 марта 1916 года приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 3332 он одновременно произведен в прапорщики и переведен в 5-й Гусарский полк.

С сентября до зимы 1915 года было сделано немало: во-первых — встречи с друзьями и единомышленниками; во-вторых — чтение новых книг, которых за время отсутствия накопилось немало. Двадцать второго ноября состоялось последнее заседание кружка «Вечера Случевского», которое посетил Гумилев (далее его имя в альбоме кружка не упоминается). Двенадцатого декабря он присутствует на заседании «Общества ревнителей художественного слова», которое вел Н. В. Недоброво. А перед самым Новым годом (1916-м) к Гумилеву и Ахматовой в Царское Село приезжают знакомиться Сергей Есенин и Николай Клюев. И за две недели до Нового года выходит «Колчан», посвященный Татиане Викторовне Адамович.

Шестая по счету книга Николая Гумилева (после «Чужого неба» в 1914 году он выпустил сборник переводов «Эмали и камеи» Теофиля Готье) вышла в издательстве «Гиперборей». Книга вызвала достаточно противоречивые, хотя большей частью и доброжелательные, оценки. Одни восторгались ею, другие считали сборник шагом назад (например, Б. Эйхенбаум), третьи и вовсе отрицали наличие каких-либо достоинств в новой работе поэта (Д. Выгодский, И. Гурвич). Но незамеченной — как критикой, так и читателями — книга не прошла.

Вероятно, включай в себя сборник только стихи о войне, он и остался бы в том времени — как его, времени, знак. Но в книге много как довоенной, так и в 1914—1915 годах созданной лирики, любовной и философской, и именно эти стихи в первую очередь определяют лицо нового сборника — новое лицо поэта.

В одной из рецензий на выход «Колчана» Б. Эйхенбаум писал: «Поэтический колчан Гумилева обновился — стрелы в нем другие. Но нужен ли ему теперь этот колчан? Не уместнее ли иной образ? Пусть стрелы эти ранят его собственную душу. И если Гумилев, правда, „взалкал откровенья“ и „безумно тоскует“, если он в самом деле *видит* свет Фавора, то что-то должно измениться в самом его словоупотреблении».

Думается, здесь более верна первая мысль — об обновленных стрелах. Словоупотребление же — скорее материал, чем техника исполнения: так, все живописцы берут одинаковые полотна. Гумилевское «словоупотребление» возросло на почве, имя которой — экзотика. И в «Колчане» чувствуются соки этой же почвы — только, быть может, в иной концентрации, в ином составе: все чаще поэт переводит свой взор с внешней цветистости на многоцветье духовного мира.

Открывающее книгу стихотворение «Памяти Анненского» в некотором роде символично: оно — и памяти собственного ученичества, долгого, кропотливого, упорного, но — завершившегося. Говоря о произведениях «Колчана», даже условно нельзя поставить рядом с именем автора чье-либо еще имя — в качестве учителя или объекта подражания. Теперь читателю открылся не делающий строку мастер, но — мир его души, входящий в строки. Как уже говорилось, несколько «итальянских» стихотворений — «Венеция», «Фра Беато Анджелико», «Рим», «Генуя» — автобиографичны, в них нашли отражение впечатления, полученные во время совместной с Ахматовой поездки в Италию в 1912 году. Но стихи эти, конечно, значительно глубже, чем просто «лирические дневниковые записи», как это нередко бывало раньше, — наступил новый этап развития. До «Колчана» — не всегда, естественно, но часто, — Гумилев строил свое творчество из того материала, который попадался под руку: важно было лишь соответствие форме. Теперь в материале «со стороны» особой нужды не было — его с избытком давала душа, которой, слава Богу, было над чем трудиться — и над африканскими, французскими, итальянскими встречами; и над фронтовыми наблюдениями; и над петербургскими событиями...

Происходило перераспределение ролей, о котором в стихотворении «Разговор» сказано:

И все идет душа, горда своим уделом,
К несуществующим, но золотым полям,
И все спешит за ней, изнемогая, тело,
И пахнет тлением заманчиво земля.

Рецензируя «Колчан», В. Жирмунский сказал о военных стихотворениях как о наиболее удачных и пришел к такому выводу: «...Эти стрелы в „Колчане“ — самые острые; здесь прямая, простая и напряженная мужественность поэта создала себе самое достойное и подходящее выражение». Но, думается, этот акцент изначально был ошибочным. Если война и была важна для Гумилева, то — в личном плане, как еще один из способов вечного его самоутверждения, но никак не в плане творческом — как, к примеру, та же Африка. Этот перелом — и в то же время нерасторжимое единство всего, что отражено в «Колчане», — автор воплотил в одном из лучших произведений сборника — поэме «Пятистопные ямбы», где взаимодополняюще сосуществует всё, что собрано в душевном мире поэта: и путешествия, и экзотика, и любовь, и война, и раздумья над смыслом жизни. Да, душа все еще «Глас Бога слышит в воинской тревоге И Божьими зовет свои дороги», но она уже помышляет и о другом — о том даже, чтобы самой распоряжаться собою:

Есть на море пустынном монастырь
Из камня белого, золотоглавый,
Он озарен немеркнушею славой.
Туда б уйти, покинув мир лукавый,
Смотреть на ширь воды и неба ширь...
В тот золотой и белый монастырь!

Достигший «высокого косноязычья», Гумилев в «Колчане» окончательно выходит на собственный путь. Произошла значительная переоценка ценностей, о которой можно догадаться по строкам:

Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной.

Ясно, что это признание принадлежит перу не акмеиста; и уж тем более ясно, что путь «конквистадорства» в его прежнем виде отринут окончательно. (Это же подметил и современный критик, литературовед А. Павловский, написавший, что «Колчан» «явился по существу первой по-настоящему, от начала и до конца, „гумилевской“ книгой. В ней мы видим почти все наиболее характерные черты и особенности как сложившейся и утвердившей себя творческой манеры и метода, так и поэтического облика писателя. В этом смысле

можно говорить, что „Колчан“ открывает собою второй (и последний) период творчества Гумилева, когда были написаны стихи вышедших в 1918—1921 годах сборников „Костер“, „Шатер“ и „Огненный столп“. Вместе они и образуют основной массив его лирики.)

Перелистаем еще раз некоторые страницы «Колчана» — книги силы, печали и ясного взора. И увидим, что теперь поэтом отрицается и что — утверждается.

Пускай велик небесный Рафаэль,
Любимец бога скал Буонаротти,
Да Винчи, колдовской вкусивший хмель,
Челлини, давший бронзе тайну плоти.

Но Рафаэль не греет, а слепит,
В Буонаротти страшно совершенство,
И хмель да Винчи душу замутит,
Ту душу, что поверила в блаженство.

Гумилев ставит под сомнение то, чем восхищался раньше, к чему раньше сам призывал. Но затем ему открылась и иная истина (что, кстати, стало причиной размолвки с С. Городецким):

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей — мгновенна и убога.
Но всё в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Несмотря на то что стихотворение написано задолго до «Колчана» (первая публикация — в № 1 «Гиперборея» за 1912 год), именно такой вот человек и становится героем «Колчана». Не обязательно — монах-доминиканец, прекрасный флорентийский живописец, но — человек, чьи краски «родились с ним и с ним погасли. Преданье есть: он растворял цветы В епископами освященном масле».

А разве не таковы же «Средневековые», «Падуанский собор», «Отъезжающему», «Видение», «Рай»; или такое вот, немыслимое ранее, обращение к Господу:

С этой тихой и грустной думой
Как-нибудь я жизнь дотяну,
А о будущей ты подумай,
Я и так погубил одну.

Это уже не слова конквистадора, предельно уверенного в себе и в своих победах, в своей миссии завоевателя и в своей непререкаемой правде, — нет, это мысли человека сомневающегося, терзающегося, уставшего от оши-

бок и разочарований; и в то же время — по-христиански смиренного.

Немало уже говорилось о посвященных М. Л. Лозинскому «Пятистопных ямбах» — камертонному произведению сборника; оно — как туго натянутая тетива, с которой слетают стрелы воспоминаний о прежнем и оценок былой жизни. Здесь и африканские путешествия, и расставанье с возлюбленной (помните: «И ты ушла, в простом и темном платье, Похожая на древнее Распятье?»), и война («И дали мне винтовку и коня, И поле, полное врагов могучих, Гудящих грозно бомб и пуль певучих...»), и раздумья о настоящем, и мечта о будущем.

«Пятистопные ямбы» — одно из немногих произведений Гумилева, в которых хоть как-то звучит нота современности. Читая книгу, видишь, что европейское средневековье ему ближе и понятней, чем происходящее сейчас, в его время, и рядом с ним, на его земле. На сей счет, говоря о «Колчане», Б. Эйхенбаум бросил автору упрек в «Русской мысли»: «Русь пока не дается Гумилеву, „чужое небо“ было ему свойственней». Да, так оно и есть. Но дело не в том, что «не дается»: он ведь, если вдуматься, и сам не пытается, не видит нужды, интереса. Всему свое время, и этому тоже, особенно если учесть запоздалую реакцию Гумилева буквально на всё; не зря же о следующей книге многие скажут, что она — самая русская.

В сущности, под знаком «Колчана» прошел почти весь шестнадцатый год: вышло более десяти рецензий — в «Русских ведомостях», «Журнале журналов», «Новом журнале для всех», в приложении к «Ниве» и прочих популярных изданиях. О многом говорили уж и сами названия — такие, например, как «Ласкающие стрелы» или «Издание распроданное». И вообще шестнадцатый год оказался для Николая Гумилева более столичным, чем фронтовым, и, в известной мере, более мирным, чем военным. Зимой и весной он болел (на этот раз — бронхит), а осенью снова прибыл в Петроград, но уже для сдачи экзаменов на офицерский чин.

Естественно, человек с таким складом характера, как у Николая Степановича, не станет терять предоставившуюся возможность поработать в более удобной, чем на фронте, обстановке. Размышления о сути искусства и мечта-тоска по Музе Дальних Странствий стали причинами, способствовавшими созданию этой зимой пьесы «Дитя Аллаха» — арабской сказки, герой которой — поэт Гафиз.

Современный исследователь Д. Золотницкий, глубоко прочитавший и понявший эту пьесу, нашел точное слово, являющееся ключом к ней, — «поэтодержавие»:

«Здесь был полный апофеоз поэтодержавия. В перипетиях действия-притчи разворачивалась цепь доказательств того, что свободное призвание поэта истинней, чем праздность юного красавца, или грубое ремесло вояки-бедуина, или наглость самовластного калифа. Все они зря притязали на любовь божественной пери, спустившейся с небес. Все были ничтожны перед поэтом-избранником Гафизом... В нем видел и Гумилев свой идеал, свое лирическое отражение. Гафизу, по всем небесным законам, и должна была принадлежать прекрасная пери. Финальная картина пьесы — торжество жизни, вечно длящейся, незакатной и юной, цветущей, щебечущей, поющей, похожей на рай земной. В волшебных садах Гафиза, среди цветов и птиц, пери находила цель своих поисков. Она встречала того, кто достиг высот человечности. Образ Гафиза — в ряду главных героев Гумилева. Поэт-драматург не собирался психологизировать характер. Он шел на большее — доверял герою свои стихи. И, в свой черед, почерпнул немало от искусства и мудрости далекого собрата... Гумилев как бы возвращал Гафизу его газели, сложенные теперь заново, с такой поэтической вольностью, что гармония стиха вступала в перекличку с певчими птицами...»

Гафизом называла Гумилева в разных своих письмах Лариса Рейснер, дополнительно подтверждая внутреннюю, лирическую связь между поэтом-драматургом и поэтом-героем. Под именем Гафиза прошел Гумилев и в «Автобиографическом романе» (1919) Ларисы Рейснер. Там встречается такой доподлинный портрет русского поэта: «Он некрасив. Узкий и длинный череп (его можно видеть у Веласкеза, на портретах Карлов и Филиппов Испанских), безжалостный лоб, неправильные пасмурные брови, глаза — несимметричные, с обворожительным пристальным взглядом. Сейчас этот взгляд переполнен... По его губам, непрестанно двигающимся и воспаленным, видно, что после счастья они скандируют стихи...»

Но о встречах с Л. Рейснер, которые начнутся с осени 1916 года, об их переписке и пылком романе, в конечном итоге завершившемся трагически для поэта, скажем несколько ниже, как того и требуют правила хронологии.

Пьесу «Дитя Алаха» Гумилев написал для театра кукол-марионеток, который организовали Ю. Слонимская и П. Сазонов, муж и жена (он — режиссер и артист Александринского театра). Активное участие в этом деле принимал и С. Маковский.

Театрик был небольшим и располагался в зале дома на Английской набережной. Куклы «на нитках» понрави-

лись публике, и, чтобы обновить репертуар, С. Маковский попросил Гумилева написать пьесу, что тот вскоре и сделал. Композитор А. Лурье (судьба словно умышленно раз за разом сталкивала Гумилева с будущими близкими друзьями Ахматовой) должен был написать музыку. «Но дело, из-за оборота, который приняла война, на том и застряло. Все же „Дитя Аллаха“ было напечатано в „Аполлоне“. Пьеса Гумилева, по совести говоря, мне не слишком нравилась. Она мало сценична, разговоров больше, чем действия, но некоторые пассажи забавно-остроумны и лирически ярки,— высказывал затем свое мнение редактор „Аполлона“ С. Маковский, который и напечатал пьесу в своем журнале, несмотря на строгую оценку.—До того Гумилев уже испробовал свои силы драматурга в короткой мифологической трагедии, которую критика не заметила,— „Актеон“... Эту поэму-трагедию (опубликована в № 7 „Гиперборея“ за 1913 год.— *И. П.*), написанную под влиянием Иннокентия Анненского, я считаю большей удачей Гумилева, чем позднейшие лирические его трагедии: „Гондла“ и „Отравленная туника“».

Вероятно, и С. Маковский, и Н. Оцуп, считавший, что в пьесе «Дитя Аллаха» есть чисто гумилевское «хвастливое превозношение» поэта-героя, неотразимого «для всех женщин», видели в герое прежде всего автора; отсюда и их отношение к такому, хотя бы, монологу пери:

Зачем печально так поет Гафиз?
Иль даром мудрецом слышет Гафиз?
Какую девушку не опьянит
Твоих речей сладчайший мед, Гафиз?
Бледна ли я? И ангелы бледны,
Когда по струнам лютни бьет Гафиз.
Молчу? Молчат смущенные уста,
А сердце громче бурных вод, Гафиз.
Я не смотрю? Но Солнце ли слепит,
Как тайн язык, чудес оплот, Гафиз?
Средь Райских радостей, средь мук Земли
Я знала — этот час придет, Гафиз.
Перед тобой стоит твоя раба,
Веди ее под твой намет, Гафиз.

Но дело, конечно, не в личных качествах автора, а в той идее, которую проводит он: талант большого поэта, дар Божий, сильнее богатства и власти, ибо он и только он способен позволить душе говорить с душою; и не зря та же пери признаёт:

Как кров приветный кипарис
Дарует птице перелётной,
Так и меня, о князь Гафиз,
Ты снова сделал беззаботной.
Ты петь меня научишь. Пусть
Я новые узнаю песни!
Пленительно взывает грусть,
Но радость говорит чудесней.

Герой справляется со своим предназначением — он утверждает «чуждость радости»; и в этом, именно в этом его великая поэтическая задача, а не в том вовсе, чтобы покорить пери. Не он ее покоряет, а сама она приходит к нему, признавая тем самым его силу и его талант.

И, с другой стороны, немыслимо, конечно, представить себе любвеобильного Гумилева, не пишущего о любви. Шестнадцатый год в этом смысле ничуть не менее эмоционален для него, чем предыдущие. Добрые, уважительные чувства к жене не мешают ему испытывать нежные чувства к актрисе, близкой к литературным кругам, — О. Н. Арбениной (ей затем будет посвящено стихотворение «Я молчу — во взорах видно горе...»); и к А. Н. Энгельгардт (на ней он женится спустя два года, сразу же после развода с А. А. Ахматовой, на котором та настояла); и — к Маргарите Тумповской (действительно, как же: лето, Ялта, и вдруг — без романа?!); и — к Ларисе Рейснер...

Война как импульс для творчества изжила себя — жизнь требовала полноты, новых красок и новых ощущений. «Записки кавалериста» перестали выходить еще в январе — прежде всего потому, что автор не участвовал в военных действиях; к тому же в новом полку, куда Гумилев был переведен, писательство не поощрялось. Наконец, наступило и переосмысление самой по себе войны. И, хотя Гумилев еще пишет:

Я за то и люблю затеи
Грозowych военных забав,
Что людская кровь не святее
Изумрудного сока трав,—

но почти одновременно публикует (именно теперь, в шестнадцатом году) стихотворение, первоначальный вариант которого был создан еще в одиннадцатом:

И год второй к концу склоняется,
Но так же реют знамена

И так же буйно издевается
Над нашей мудростью война.

Вслед за ее крылатым гением,
Всегда играющим вничью,
С победной музыкой и пением
Войдут войска в столицу. Чью?

И сосчитают ли потопленных
Во время трудных переправ,
Забытых на полях потоптанных
И громких в летописях слав?

.....

Не все ль равно? Пусть время катится,
Мы поняли тебя, Земля:
Ты только хмурая привратница
У входа в Божии поля.

И, конечно же, неслучайно во второй вариант, опубликованный в девятом номере «Нивы» за 1916 год, не вошли бодрые, фанфарные строки 1911 года:

Чума, война иль революция —
В пожарах сѣла, лут в крови!
Но только б спела скрипка Муция
Песнь Торжествующей Любви.

Осталось в прошлом и, казалось бы, совсем недавно отправленное другу в столицу письмо — теперь уж подобного Гумилев не напишет: «Меня поддерживает только надежда, что приближается лучший день моей жизни, день, когда гвардейская кавалерия одновременно с лучшими полками Англии и Франции вступит в Берлин. Наверно, всем выдадут парадную форму, и весь огромный город будет как оживший альбом литографий. Представляешь ли ты себе во всю ширину Фридрихштрассе цепи взявшихся под руки гусар, кирасир, сипаев, сенегальцев, канадцев, казаков, их разноцветные мундиры с орденами всего мира, их счастливые лица, белые, черные, желтые, коричневые».

Он шел на войну за яркой, быстрой, звонкой победой — за славой, за торжеством победителя. Увы, ничего подобного не ожидалось теперь. Утратив первоначальный оптимистический запал, Гумилев отдает силы творчеству: в «Аполлоне» появляются его размышления о книгах Г. Адамовича, Г. Иванова, М. Лозинского, О. Мандельштама — размышления, в которых проскальзывает необычная для него мысль: «Однако есть не

только стихи, есть и поэт». Не означает ли эта мысль, что и сам Гумилев теперь разделяет для себя эти понятия? По крайней мере ничто не мешало ему, оставаясь значительным поэтом, писать на фронте рифмованные приветствия командиру полка и поздравления однополчанину Балясному, чрезвычайно далекие и от творчества Гумилева, и от поэзии вообще.

Летнее пребывание на фронте, видимо, действовало на него еще более удручающе, и потому, когда представилась возможность в конце лета вернуться в «лучший город мира» для сдачи офицерских экзаменов, Гумилев с радостью окунулся в родной быт и в дорогие сердцу заботы — от чтения в стенах «Аполлона» завершённой уже пьесы «Гондла» до посещений «Привала комедиантов».

Для того чтобы сказать несколько слов о «Гондле», необходимо сделать небольшое отступление, своего рода краткий экскурс в драматургию Гумилева. Его пьесы публиковались, вызвали читательский и критический отклик, но, как правило, не доходили до сцены (имеется в виду профессиональная сцена, а не самодеятельные спектакли). Это — первая своеобразная особенность его пьес (если они даже и ставились, то всего пару раз и не оставили никакого следа в истории театра). Вторая особенность состоит в том, что почти везде главный персонаж — поэт: и королевич Гондла, и воин Имр, и охотник Актеон. В своем роде поэт, хотя и не явный, — и Дон Жуан.

Поставленный столичным Троицким театром в 1913 году (а затем повторенный в 1917-м московским театром «Маски») «Дон Жуан в Египте» заставил и самого автора признать: «Мой „Дон Жуан в Египте“ далеко не лучшее, что я написал». Хотя уже здесь Гумилев позволил себе вольную трактовку известного сюжета, что затем станет для него обычным делом. Но если «Дон Жуан...» остается в памяти красивыми строчками: «Вы знаете ль, как пахнут розы, Когда их нюхают вдвоем?», — а «Игра» — психологизмом схватки романтика и циника, то «Актеон» являет собою более широкое в художественном смысле полотно, запоминающееся цельно. Царевич Актеон страдает не потому, что увидел обнаженной богиню Диану, а потому в сущности, что он — поэт. Да, за дерзость она превратила его в оленя, и псы, доселе повиновавшиеся царевичу, теперь хотят загрызть оленя. Но суть конфликта глубже и трагичней, она ясна уже тогда, когда юный поэт говорит своему отцу Кадму, царю-зодчему:

И разве надобен богам,
В их радостях разнообразных,
Тобою выстроенный храм
Из плит уродливых и грязных?

Последующее пожеланье Актеона: «Я буду спать, не закрывая глаз, И, может быть, проснусь наутро богом», — воспринято как дерзость: он осмелился уподобить себя небожителям; и, в итоге, ему этого не простили.

По сравнению с предыдущими, как правило, одноактными пьесами, «Гондла» — крупное произведение, драматическая поэма в четырех действиях. К ней автор подошел, имея уже опыт в драматургии. Внешне новая работа столь же «гумилевская», как и прежние: действие в ней происходит в давние времена (Исландия X века), а главный герой — поэт. Тем, что он уродлив, автор лишь подчеркивает красоту его души. И чисто по-гумилевски лишает своего героя-поэта жизни: Гондла закалывает себя мечом. Но физическая смерть и в данном случае ничего не значит, ибо, по мысли автора, душа, верящая в Бога, бессмертна. И потому на реплику вождя: «Гондла умер» — возлюбленная Гондлы, Лера, отвечает:

Вы знаете сами,
Смерти нет в небесах голубых,
В небесах снеговыми губами
Он коснется до жарких моих.
Он — жених мой и нежный и страстный,
Брат, склонивший задумчиво взор,
Он — король величавый и властный,
Белый лебедь родимых озер.
Да, он мой, ненавистный, любимый,
Мне сказавший однажды: люблю! —
Люди, лебеди иль серафимы,
Приведите к утесам ладью.
Труп сложите в нее осторожно,
Легкий парус надуется сам,
Нас дорогой помчав невозможной
По ночным и широким волнам.
Я одна с королевичем сяду,
И руля я не брошу, пока
Хлещет ветер морскую громаду
И по небу плывут облака.
Так уйдем мы от смерти, от жизни.
— Брат мой, слышишь ли речи мои? —

К неземной, к лебединой отчизне
По свободному морю любви.

На этой высокой ноте пьеса заканчивается. Отходят на задний план физические недостатки Гондлы, его ошибки — остается лишь сильнейшая человеческая любовь и братство по вере. Смертью своей скальд Гондла обратил в веру Христову и Леру. Он крестил во имя Господне, и когда конунг, Снорре, Груббе и Ахти воспротивились: «Нет, нам нового Бога не надо! Мы не выдадим старых богов», — Гондла идет на жертву, которая не может быть не оценена, — приставив меч к своей груди, он восклицает:

Вы отринули таинство Божье,
Вы любить отказались Христа,
Да, я знаю, вам нужно подножье
Для его пресвятого креста!

И со словами «Вот оно» Гондла становится таким подножьем веры, вонзая меч себе в грудь.

Такая пьеса была написана летом 1916 года и прочитана затем друзьям — С. Маковскому, М. Лозинскому и другим. Но давнее время и чужая страна — условность; вероятно, в процессе работы над пьесой Гумилев не мог избавиться от размышлений об идущей войне, на которую ему предстояло вернуться. Не случайно подобная война — между «волками» и «лебедями» — есть и в «Гондле». И не случайно звучит в пьесе такая мысль:

Ахти, мальчик жестокий и глупый,
Знай, что больше не будет войны.
Для чего безобразные трупы
На коврах многоцветных весны?

В то время, когда Гумилев, излечивающий свой бронхит в Массандре, работал над пьесой, его приятели, «два Жоржа» — Георгий Адамович и Георгий Иванов — решили возобновить «Цех поэтов». К осеннему возвращению Николая Степановича в Петроград его уже ждало приглашение быть членом возрожденного сообщества. Но, как следует из письма Гумилева к Ахматовой, «первое заседание провалилось, второе едва ли будет».

Не удивительно, что из затеи, предпринятой в такое неподходящее время, ничего не вышло: новый «Цех» не протянул и года, не оставив существенного следа в литературной жизни.

...Первого октября 1916 года Николай Гумилев напишет жене: «Дорогая моя Аничка, больше двух недель от тебя нет

писем — забыла меня. Я скромно держу экзамены, со времени последнего письма выдержал еще три; остаются еще только четыре (из 15-ти), но среди них артиллерия — увы! Сейчас готовлю именно ее. Какие-то шансы выдержать у меня все-таки есть».

Готовиться к экзаменам на офицерское звание и сдавать их в петербургском Николаевском кавалерийском училище Гумилев прибыл 19 августа; все дело заняло два месяца и, увы, не увенчалось успехом: не сдав экзамена по фортификации, 25 октября 1916 года Николай Степанович снова отправился на фронт.

Что ж, и в этом проявилось постоянство: к точным наукам он не питал особых симпатий с детства.

Однако эти же месяцы стали и началом одного из красивейших, и в то же время драматичнейших, гумилевских романов, который, не исключено, аукнулся в роковом 1921 году; и Бог весть, не было ли среди тех пуль, пущенных в его грудь, и пули, вылетевшей из красивых строк Ларисы Рейснер еще в шестнадцатом?

О, какие флирты начинались в «Бродячей собаке», развивались в этом подвальчике и в нем же гасли! Но не менее звучные рождались и в пронином же, заменившем «Собаку», ресторане «Привал комедиантов» на Марсовом поле, куда перекочевали артисты и литераторы, обретавшие здесь ночной «привал» после дневных трудов. В этом кабаре и произошла первая встреча литературного мэтра Николая Гумилева и студентки, начинающей плодотворной писательницы Ларисы Рейснер. Одну из сторон этого романа, который оба его участника хотели представить не иначе как пылающим костром, можно проследить по опубликованной их переписке («Лишь для тебя на свете я живу», журнал «В мире книг», 1987, № 4).

Поэт нередко сначала говорит, а потом уж понимает. О, не зря Гумилев в одном из тех писем назвал себя «новым Актеоном»! Печален конец этого его героя, хотя светла была его любовь.

Прагматичная, экзальтированная и политизированная Лариса Рейснер и аполитичный, замедленный Николай Гумилев — что, казалось бы, общего? Что за ирония судьбы? Он влюбился в нее, потому что влюблялся едва ль не во всех (в том же августе он и Анне Энгельгардт признавался в любви). Чувство Рейснер было несколько иным, хотя и его вполне можно принять за влюбленность. И тем не менее будущие комиссары (а Рейснер станет комиссаром, и именно с нее «списана» героиня «Оптимистической трагедии») не просто

так приходят к маузеру и кожаной куртке: их комиссарство распускается на уже выросшем стволе и питается от давних корней.

Любовная переписка запылала. Он называл Ларису именем героини «Гондлы» — Лерой; она его — именем одного из любимых гумилевских героев — Гафизом. До этого — свидания и даже предложение выйти замуж; после этого — холодное недоумение Николая Степановича и ярая озлобленность Ларисы Михайловны. Но между — письма. Они были — пусть даже как факт творчества двух литераторов, а не фиксация чувств, но — были.

И если он — ей: «Я помню все Ваши слова, все интонации, все движения, но мне мало, мало, мне хочется еще... Так мне хочется Вас увезти. Я написал Вам сумасшедшее письмо, это оттого, что я Вас люблю», то она — ему: «Ах, привезите с собой в следующий раз поэму, сонет, что хотите, о янычарах, о семиголовом цербере, о чем угодно, милый друг, но пусть опять ложь и фантазия украсятся всеми оттенками павлиньего пера...»

Он — ей: «Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру Ваше имя, снитесь Вы мне почти каждую ночь»; и она — ему: «Не сегодня-завтра начнется февраль. По Неве разгуливает теплый ветер с моря...» И только в последнем, прощальном письме-настроении промелькнет уже ненужное, как сорванный ветром лист: «Мой милый, мой возлюбленный» — после оценки ушедшего чувства: «...странное... и такое похожее на любовь».

И все же было что-то темное и подспудно-неосознанное пока для обоих (для него — и до самой гибели) в его сравнении себя с Актеоном и в ее любовно-томной полуугрозе: «Мне часто казалось, что Вы когда-то должны еще раз со мной встретиться...»

С нею — нет, не довелось, но не был ли ее будущий влиятельный муж Ф. Раскольников, близкий к советским и чекистским властям, еще и ревнивцем? Ведь их прошлое для него оставалось его настоящим и в 1921 году... Да и Лариса Михайловна уже не утруждала себя подыскиванием нежных слов о бывшем «возлюбленном». Ахматова в 1925 году вспоминала, что уже в двадцатом году Рейснер «о Николае Степановиче говорила с яростным ожесточением, непримиримо враждебно» и даже, используя сильнейшие свои связи, настояла, чтобы Гумилева лишили литераторского пайка. Анна Андреевна считала, что причина ненависти — в обиде: ведь Гумилев, посылая любовные послания

Рейснер, в то же самое время не жалел нежности и для Анны Энгельгардт.

Может быть, так оно и есть. Но если так, то, значит, не о любви речь, коль ненависть и злоба стали сильнее нее и приняли столь мстительные формы. Тем более что к 1920 году Лариса Рейснер не знала отказа ни в чем — в отличие от полуголодного поэта.

Весной 1917-го они расстанутся, но еще 15 января Гумилев писал ей: «Леричка моя, Вы, конечно, браните меня, я пишу Вам первый раз после отъезда, а от Вас получил уже два прелестных письма. Но в первый же день приезда я очутился в окопах, стрелял в немцев из пулемета, они стреляли в меня, и так прошли две недели. Из окопов может писать только графоман, настолько там все не напоминает окопа: стульев нет, с потолка течет, на столе сидит несколько огромных крыс, которые сердито ворчат, если к ним подходишь. И я целые дни валялся в снегу, смотрел на звезды и, мысленно проводя между ними линии, рисовал себе Ваше лицо, смотрящее на меня с небес...»

Поэтам — лирика, будущим комиссарам — революция. И каждый считает себя правым, ибо у каждого — свои цели.

Февральская революция, столь много значившая для Рейснер (Октябрьская для нее уже значила — всё), Гумилевым осталась незамеченной, хотя он и был в это время в столице. Это была не та экзотика, к которой его всегда влекло. Ту он видел за пределами России и потому стал добиваться перевода на Салоникский фронт, к союзникам. Он еще занимается литературными делами: в начале года пытается напечатать поэму «Мик и Луи» в «Ниве» (все застопорилось на стадии корректур, и поэма на страницах журнала не появилась); в марте читает Ф. Сологубу пьесу «Дитя Аллаха» и присутствует на заседании угасающего «Цеха поэтов» у М. А. Струве; но мысли его — об отъезде. Может быть, на этом заседании и произошла беседа со Струве, который имел возможность подействовать. Так или иначе, но 15 мая Гумилев с командировочным предписанием в кармане покинул Петроград, чтобы через Финляндию, Швецию, Норвегию и Лондон добраться до Парижа, а оттуда — на новый фронт.

Потухший было взор его вновь оживился от предвкушения путешествия. Пусть не в Африку, но все же...

И странная его многоликая муза терпеливо собиралась вместе с ним под новое чужое небо, чтобы зажечь на нем еще одну звезду, ибо поэт — это человек, ушибленный звездой.

ПОД СИНЕЙ ЗВЕЗДОЙ

Я вырван был из жизни тесной,
Из жизни скудной и простой
Твоей мучительной, чудесной,
Неотвратимой красотой.

И умер я... и видел пламя,
Не виданное никогда,
Пред ослепленными глазами
Светилась синяя звезда.

.....
И вдруг из глубы осиянной
Возник обратно мир земной,
Ты птицей раненой неожиданно
Затрепетала предо мной.

Ты повторяла: «Я страдаю»,
Но что же делать мне, когда
Я наконец так сладко знаю,
Что ты — лишь синяя звезда.



Не известно, как повернулась бы судьба Николая Гумилева, останься он в 1917 году в Петрограде. Отношение к событиям этого года, как мы знаем, далеко не у всех было однозначным. Впрочем, реакцию Гумилева, «пропустившего» февральскую смуту, прогнозировать легко: октябрьские потрясения его тоже вряд ли тронули бы.

Но в судьбе не бывает ненужных шагов, и потому говорить надо о том, что было, а не о том, что могло бы случиться.

Получив назначение в экспедиционный корпус, Гумилев по пути в Париж сделал краткую остановку в Лон-

доне, где знал только художника Бориса Васильевича Анрепа. Видно, уж на роду у супружеской пары — Гумилева и Ахматовой — написано было, чтобы на ее глазах происходили почти все его романы, а ему постоянно доводилось встречаться и дружить с ее бывшими и будущими нежными друзьями. Борис Анреп был одним из них: ему Ахматова посвящала замечательные любовные стихи, подарила перед расставанием кольцо (об этом тоже сказано в ее стихах), о нем думала долго, вплоть до старости. И Борис Васильевич думал о ней, старался по мере сил помогать Анне Андреевне в трудное для нее время. Их отношения не афишировались, но и слишком уж большого секрета не составляли. Гумилев, чтобы скрыть уязвленное тщеславие, бравировал в таких случаях: «Ахматова вызывала всегда множество симпатий. Кто-то не писал ей писем, не выражал восторгов. Но так как она всегда была грустна, имела страдальческий вид, думали, что я — тиранический муж, и меня за это ненавидели. А муж я был самый добродушный и сам отвозил ее на извозчике на свидания».

Недолгий первый лондонский период (первый — перед Парижем, второй — после) полностью связан с именем Анрепа, который взял на себя труд устроить быт Николая Степановича, ввести его в литературные круги Лондона. Именно благодаря Анрепу Гумилев свел знакомство с О. Хаксли, Р. Фрайем, Гарднером, Бекгофером, Честертоном и другими. Деятельная гумилевская натура и здесь нашла себе применение: он дает интервью, строит грандиозные литературные планы на будущее, изучает английский язык. Перед самым отъездом из Лондона в Париж, 28 июня 1917 года, в английском еженедельнике «Новый век» появляется беседа Николая Гумилева с Карлом Бекгофером.

А первого июля Николай Степанович прибывает в Париж. Увы, мечтам не суждено сбываться: ни о фронте, ни о корреспондентской должности, о которой говорил в Петрограде Струве, с ним речи не ведут. В первые же дни было решено, что Гумилев остается в Париже, в распоряжении представителя Временного правительства генерала Зенкевича, и будет находиться в составе Управления Военного комиссариата (приказ по русским войскам во Франции № 30).

Высказывалось предположение (в частности, В. Карповым), что и в Париже, и в Лондоне Н. Гумилев занимался разведывательной деятельностью («...есть бумаги, косвенно его (т. е. это предположение.— *И. П.*) подтверждающие, хотя бы служебная „Записка об Абиссинии“, написанная рукой

Гумилева. Это информационный документ, характеризующий мобилизационные возможности Абиссинии для пополнения войск союзников, она Гумилевым так и названа: „Записка относительно могущей представиться возможности набора отрядов добровольцев...” Подробно и со знанием дела Гумилев излагает мобилизационные возможности абиссинских племен. Записка эта написана Гумилевым на французском языке и, очевидно, использовалась как русским, так и французским командованием», — писал В. Карпов).

Что ж, может быть, и так, хотя аргументация далеко не самая убедительная. Малая информированность о его служебных делах в этот период позволяет высказывать любые предположения. В конечном итоге Гумилев — профессиональный поэт, а не профессиональный разведчик, и поэтому сведений о его творчестве гораздо больше. Если направляясь из России в Лондон, он по пути написал такие стихотворения, полностью отражающие маршрут, как «Стокгольм», «Швеция», «Норвежские горы», «На Северном море», то в Париже, кроме прочих значительных работ (переводы, драматическая поэма), был создан целый альбом любовной лирики, который затем, после гибели поэта, неведомый составитель назовет «К синей звезде».

Проплывая по Северному морю, Гумилев, всегда грезивший подвигами и любовью, писал:

О да, мы из расы
Завоевателей древних,
Вносявших над Северным морем
Широкий крашеный парус
И прыгавших с длинных стругов
На плоский берег нормандский —
В пределы старинных княжеств
Пожары вносить и смерть.

.....

О да, мы из расы
Завоевателей древних,
Которым вечно скитаться,
Срываться с высоких башен,
Тонуть в седых океанах
И буйной кровью своею
Поить ненасытных пьяниц —
Железо, сталь и свинец.

Но все-таки песни слагают
Поэты на разных наречьях,

И западных, и восточных;
Но все-таки молят монахи
В Мадриде и на Афоне,
Как свечи горя перед Богом,
Но все-таки женщины грезят
О нас, и только о нас.

Однако случившаяся в Париже встреча, переросшая в не-
утоленную страсть, дала ему понять, что далеко не все жен-
щины «грезят о нас, и только о нас».

Об этой любви пишет каждый, кто более-менее полно
хочет сказать о творчестве Гумилева. Вряд ли именно из-за
этого он «завяз» в Париже, забыв даже о фронте, но стихи
говорят о том, что увлечение было горячим.

Февральская революция изменила порядок дел не толь-
ко в самой России. Из-за нее отказались от наступле-
ния в Эгейском море и союзники, в результате чего жела-
ние Гумилева попасть на Салоникский фронт осталось
невостребованным. Однако в это время он знакомит-
ся с русскими художниками, живущими в Париже,—
М. Ф. Ларионовым и Н. С. Гончаровой, мужем и женой,— с
поэтом К. Н. Льдовым, с другими людьми искусства, что и
самого его толкает на новые творческие поиски. Словно бы
в благодарность за такой импульс он посвящает Наталье
Гончаровой свой рассказ «Черный генерал»; действительно,
ежедневные встречи с русскими художниками значили для
него немало.

Но все лирические стихи посвящены другой даме —
той самой загадочной поначалу для многих «синей зве-
зде» (сам Гумилев говорил — «голубой звезде»), кото-
рую звали Еленой Карловной Дюбуше. Затем, с долей са-
моиронии, он так охарактеризует свои альбомные (а они
в самом деле писались именно в альбом юной прелестни-
це) стихи:

Мой биограф будет очень счастлив,
Будет удивляться два часа,
Как осел, перед которым в ясли
Свежего насыпали овса.

Вот и монография готова,
Фолиант почтенной толщины:
«О любви несчастной Гумилева
В год четвертый мировой войны».

Монографий на заданную поэтом тему пока никто не
писал, да и мы не станем, ибо в любви с головой достаточно

двоих, но несколько слов о строках, порожденных этим чувством, сказать надо.

Встреча с Еленой Дюбуше, в которой слились русская кровь и французская, вновь затронула нежные лирические струны в душе поэта. А то, что возлюбленная не отвечала взаимностью, придало их звучанию оттенок трагичности, смешанной с защитной самоиронией. Некоторые исследователи давали слишком высокую оценку всему посмертному сборнику, но, думается, более прав уравновешенный Сергей Маковский, сказавший: «Все же не надо преувеличивать значения „несчастной“ парижской страсти Гумилева. Стихи „К синей звезде“ искренни и отражают подлинную муку, однако остаются „стихами поэта“, и неосторожно было бы приравнивать их к трагической исповеди. Любовная неудача больно ущемила его самолюбие, но как поэт, как литератор прежде всего, он не мог не воспользоваться горьким опытом, дабы подстегнуть вдохновение и выразить в гиперболических признаниях не только свое горе, но горе всех любивших неразделенной любовью. С точки зрения формальной, стихи „К синей звезде“ часто небезупречны, неудавшихся строк много. Но в каждом есть такие строки, что останутся в русской лирике».

Вероятно, в жизни предыдущей
Я зарезал и отца и мать,
Если в этой — Боже присносуший! —
Так позорно осужден страдать.

Каждый день мой, как мертвец, спокойный,
Все дела чужие, не мои,
Лишь томленье вовсе недостойной,
Вовсе платонической любви.

Да, это давно уже не конквистадор, привыкший лишь побеждать; не Гафиз, перед которым тает небесная персидская роза; не Гондла, силу которого, пусть и после его гибели, признаёт любящая Лера. Это уже не юноша, но зрелый муж, болезненно переживающий отказ. «Мой альбом, Где страсть сквозит без меры В каждой мной отточенной строфе...» Но сквозит не только страсть — сквозит и новое осознание себя, своего чувства, своего, наконец, возраста.

По привычке он еще задает лирические, отчасти риторические, но по сути обвинительные вопросы:

Как ты любишь, девушка, ответь!
По каким тоскуешь ты истомам?

Неужель ты можешь не гореть
Тайным пламенем, тебе знакомым,

Если ты могла явиться мне
Молнией слепительной Господней,
И отныне я горю в огне,
Вставшем до небес из преисподней?

По привычке сам он все еще остается в центре, упиваясь своим страданием и уверенный в своей правоте:

Еще не раз Вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый необманный.

Он мог стать Вашим тоже, и не стал,
Его Вам было мало или много...

Но уже появляются и другие ноты, другие настроения: понимание наряду со своею правотою и равноправной, равноценной правоты возлюбленной, у которой тоже есть свой мир, свои идеалы, свои привычки:

Но каждый раз Вы склонитесь без сил
И скажете: «Я вспоминать не смею,
Ведь мир иной меня обворожил
Простой и грубой прелестью своею».

Елена Карловна не поддавалась поэтическим чарам, не потереяла головы от рассказов об африканской охоте и воинских доблестях. Ей надо было устраивать жизнь, и девиз «с милым рай и в шалаше» был не ее девизом. Принимая признания русского поэта, который ничего, кроме чувств и красноречия, предложить не мог, она вышла замуж за делового американца. Этим своим шагом она дала Гумилеву повод написать изумительное стихотворение из трех строк — хокку:

Вот девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца.
Зачем Колумб Америку открыл?!

Но и замужество «синей звезды» не охладило страсти Гумилева: посвященные ей стихи он писал до самого отъезда из Парижа, до весны 1918 года. Стихотворений набралось немало, поэт сам переписал их в отдельный альбом, который и подарил героине, а книга «К синей звезде» вышла уже после его смерти, в 1923 году в Берлине. Правда, в этот сборник вошли и новые редакции некоторых стихотворений из прижизненных книг. Сборник не стал значи-

тельным событием, так как, составленный из произведений, для печати, может быть, автором и не предназначавшихся, был неровным. Не зря сам Гумилев называл его только «альбом»:

Отвечай мне, картонажный мастер,
Что ты думал, делая альбом
Для стихов о самой нежной страсти
Толщиною в настоящий том?

Картонажный мастер, глупый, глупый,
Видишь, кончилась моя страда,
Губы милой были слишком скупы,
Сердце не дрожало никогда.

Страсть пропела песней лебединой,
Никогда ей не запеть опять,
Так же как и женщине с мужчиной
Никогда друг друга не понять.

Кроме стихов, посвященных «синей звезде», Николай Гумилев написал в Париже и еще две значительные вещи: трагедию «Отравленная туника» и сборник «китайских стихов» «Фарфоровый павильон». Но переводами в полном смысле слова его «китайские стихи» считать нельзя, так как Гумилев здесь очень вольно обращается с текстами, к тому же за основу им взяты французские источники (т. е. получился двойной перевод). Скорее это, как считает М. Эльзон, «сборник стихотворений „по мотивам“, вольных переложений».

Восток Гумилева очень увлек: он собирал книги, смотрел рисунки, коллекционировал всё, связанное с Китаем и Индокитаем.

Почему — «Фарфоровый павильон»? Почему — Китай? Может быть, всё от той же тоски по Музе Дальних Странствий? Душа его продолжала путешествовать. И для господина, бродящего по бульварам европейской столицы, разве не экзотика:

Среди искусственного озера
Поднялся павильон фарфоровый.
Тигриною спиною выпнутый,
Мост яшмовый к нему ведет.

И в этом павильоне несколько
Друзей, одетых в платья светлые,
Из чаш, расписанных драконами,
Пьют подогретое вино.

«Фарфоровый павильон» — это взгляд европейца на представляемый, воображаемый им Китай. Книга вышла после возвращения Гумилева в Россию, и, хотя о ней сочувственно упоминалось в печати, сенсацией и событием она не стала. Тем не менее «Фарфоровый павильон» был переиздан и после гибели поэта, в 1922 году, да и сейчас эти стихи читаются с интересом, ибо многие из них талантливы, живы, яркие и наивно философичны («Три жены мандарина», «Природа», «Дорога», «Странник», «Кха» и другие).

Большее внимание привлекла «Отравленная туника», продолжающая театр поэта. Несмотря на то, что, как и раньше, автор оговаривает время (533—534 гг.) и место действия (Византия) и герои его конкретны (император Юстиниан, императрица Феодора), — трагедия так же исторически условна, как и «Актеон» и «Гондла». Здесь тоже главный персонаж — поэт, араб Имр. Это подчеркивается даже тем, что лишь его речь — рифмованная, остальные герои говорят белым стихом. И здесь тоже присутствует идея избранничества поэта и его гибели. И здесь тоже поэт любит и влюбляет в себя: и Феодору («Я до тебя не знала наслаждения. Я отдавалась просто, как дитя...»), и ее падчерицу, дочь императора Зою, вызывая тем самым гнев императрицы:

Да, знаю я, незрелая девчонка
С печальным ртом, огромными глазами
Тебе дороже... Так она погибнет!

Эта трагедия словно бы опровергает собою высказанное в 1916 году, в «Новом журнале для всех», мнение критика И. Оксенова, что в творчестве Гумилева «нет ни России, ни античности — ибо поэт блестяще поверхностен, и совсем не по плечу ему Инн. Анненский, учеником которого он себя считает».

Это не совсем так, ибо еще об «Озере Чад» в 1908 году Анненский писал: «А конец так прямо даже в византийском вкусе». Уж кому-кому, а переводчику Еврипида и большому знатоку античности в оценках доверять можно. Кстати, вполне вероятно, что один из мотивов «Отравленной туники» (отравление) не случайно перекликается с подобным же в «Медее», переведенной И. Ф. Анненским.

Работая в Париже над этой трагедией, Николай Степанович одновременно пытается уладить служебные дела. Но — происшедшая в октябре революция слишком многое изменила. Россия вышла из войны, а следовательно, и Управление Военного комиссариата было расформировано. Это произошло 4 января 1918 года. В тот же день приказом по русским

войскам № 176 Н. С. Гумилев был оставлен на учете старшего коменданта русских войск в Париже. Но оставаться лишь «на учете» — не в натуре, не в характере этого человека. Восьмого января он подает на имя представителя Временного правительства рапорт-ходатайство о назначении его на Персидский фронт. Известна карандашная резолюция на этом документе: «Согласен», — и вместо подписи — буква «З» (вероятно, генерал Зенкевич).

Убедившись, что и из этой затеи ничего не выходит, Гумилев рвется на Месопотамский фронт. Но для того чтобы решить этот вопрос, необходимо ехать в Лондон. Как говорится, охота пуще неволи, — и вот, выхлопотав командировку в Англию, подтвержденную аттестатом и довольствием до апреля, он направляется в столицу королевства. Однако и на сей раз подстерегала неудача: на фронт его не отправили, а средства таяли на глазах.

Вернувшись на два дня в Париж (чтобы попрощаться с ним теперь уже навсегда), Николай Степанович собирает черновики, записные книжки, чтобы затем оставить этот архив в Лондоне, у Анрепа, который в свою очередь передаст их Г. П. Струве, без которого мы, вероятно, так и не узнали бы почти ничего об этом периоде жизни поэта.

Добравшись из Парижа в Лондон, Гумилев начинает оформлять документы для возвращения домой, в Россию. Николай Степанович направлялся навстречу уже начавшемуся потоку беженцев; как всегда — против течения. Говорят, что однажды в графе «Политические убеждения» он написал: «Аполитичен». Учитывая, что особой склонностью к юмору он никогда не отличался, можно представить себе и его аполитичное (то есть безразличное к политическим ситуациям и переменам) отношение к происходившему тогда в России. Он не понимал даже, отчего так долго не выдают проездные документы, хотя ему и объясняли, что выехал он из одной страны, а возвращаться придется в другую — с иной властью и иным строем. И в этом он остался прежде всего поэтом.

Поэтическое и критическое творчество Гумилева пусть и с запозданием, но доходило до читающей публики, и имя его даже во время отсутствия не было предано забвению: «Аполлон» опубликовал «Дитя Аллаха» с прекрасными рисунками Павла Кузнецова (номер журнала вышел только в марте 1918 года); в парижском «Русском солдате-гражданине во Франции» была опубликована его рецензия на сборник стихов Никандра Алексева «Венок павшим»; в «Аргусе» выходит отрывок из поэмы «Мик и Луи»;

в «Русской мысли» — «Гондла», на которую откликается рецензией Лариса Рейснер; критики продолжают разбирать «Колчан»...

Но все это — без него, без его участия. И, коли уж не удалось попасть на фронт, Гумилев решает вернуться к боям литературным. Четвертого апреля он покидает Лондон, направляясь через Скандинавию и Мурманск в Петроград. С собою он везет незавершенную «Отравленную тунику», «китайские стихи», игрушки для сына Льва, подарок Анне Андреевне от Анрепа, смесь усталости и надежд и последнее прости-прощай, обращенное не только к «синей звезде», под светом которой прошли замечательные месяцы, но и к себе самому:

На путях зеленых и земных
Горько счастлив темной я судьбою.
А стихи? Ведь ты мне шепчешь их,
Тайно наклоняясь надо мною.

Ты была безумием моим
Или дивной мудростью моею,
Так когда-то грозный серафим
Говорил тоскующему змею:

«Тьмы тысячелетий протекут,
И ты будешь биться в клетке тесной,
Прежде чем настанет Страшный Суд,
Сын придет и Дух придет Небесный.

Это выше нас, и лишь когда
Протекут назначенные сроки,
Утренняя, грешная звезда,
Ты придешь к нам, брат печальноокий.

Нежный брат мой, вновь крылатый брат,
Бывший то властителем, то нищим,
За стенами Рая новый сад,
Лучший сад с тобою мы отыщем.

Там, где плещет сладкая вода,
Вновь соединим мы наши руки,
Утренняя, милая звезда,
Мы не вспомним о былой разлуке».

Но по возвращении в охваченную смутой российскую столицу его ожидала новая разлука, еще более болезненная. И все же он ехал навстречу не смерти, но — жизни. Хотя в жизни, как известно, один раз случается и смерть.

«ИСПЕПЕЛЯЮЩИЕ ГОДЫ!»

Закат из золотого стал как медь,
Покрылись облака зеленой ржюю,
И телу я сказал тогда: «Ответь
На все, провозглашенное душою».

И тело мне ответило мое,
Простое тело, но с горячей кровью:
«Не знаю я, что значит бытиё,
Хотя и знаю, что зовут любовью.

Но я за всё, что взяло и хочу,
За все печали, радости и бредни,
Как подобает мужу, заплачу
Непоправимой гибелью последней».



Объективно это можно объяснить соединением расцвета физических сил и творческой активности. Но точно так же объективно и другое: Гумилев вне Родины не смог бы стать для поэзии тем, чем он стал в России — с 1918 года до своей гибели, и даже — после расстрела.

Россия встретила его не лаврами. Но Николай Степанович на это особо и не рассчитывал. С первых же недель он начал отстраивать полуразрушенное здание — на том же фундаменте: с головой ушел в литературную деятельность, не сомневаясь в том, что сможет возглавить литературную жизнь Петрограда. Надо было восстанавливать «Цех поэтов», возрождать издательство «Гиперборей», не говоря уж о заботах о хлебе насущном.

В Петрограде Гумилев остановился на Ивановской улице, в квартире С. К. Маковского. Одной из причин этого был

развод с Ахматовой. Анна Андреевна попросила о разводе в первые же дни после возвращения Гумилева из-за границы, признавшись, что любит Владимира Шилейко и собирается за него замуж.

Как известно, семьи в натуральном ее виде давно не существовало, и потому Николай Степанович старался не подавать вида, что оскорблен или обижен уходом жены к другому. Но ведь другим-то оказался давний знакомец Гумилева, к тому ж не блиставший какими-либо особыми внешними данными. Именно это ущемило Николая Степановича. Не желая признаваться ни себе, ни другим в своих переживаниях, он скоропалительно женится на Анне Николаевне Энгельгардт, которую гумилевский круг окрестил «Анной второй», хотя кроме имени она ничем не напоминала «Анну первую» и была достаточно далека от литературных дел, забот и интересов мужа.

Скорее всего, это была женитьба из самолюбия, хотя ей и предшествовали свидания, признания и ухаживания. Брат Анны Николаевны вспоминал: «Николай Степанович приехал к нам как жених сестры познакомиться с ее родными и пробыл у нас всего несколько часов. Он уже снял свою военную форму и одет был в серый изящный спортивный костюм, и все его существо дышало энергией и жизнерадостностью. Он был предельно вежлив и предупредителен со всеми, но все свое внимание уделял сестре, долго разговаривая с ней в садовой беседке. Вероятно, тогда был окончательно решен вопрос об их свадьбе».

Женившись, Гумилев некоторое время жил в доме родителей жены (пока те были в отъезде); затем, после рождения дочери Елены, отправил жену с ребенком в Слепнёво (там было лучше с питанием, чем в столице), а сам и перебрался на квартиру С. К. Маковского. Сергей Константинович писал об этом в своих воспоминаниях: «Курьезное совпадение. Тотчас после „февральской“, в апреле 1917 года, я уехал из Петербурга в Крым, будучи уверен, что никогда не вернусь, и предоставил журнальное помещение „Аполлона“ на Разъезжей улице и мою личную квартиру на Ивановской — со всем, что в них оставалось, — в полное распоряжение (через секретаря редакции Лозинского) аполлоновцам. Насколько мне известно, чуть ли не первыми переехали в мою квартиру Ахматова со своим другом — Шилейко, ученым ассириологом, сотрудником „Аполлона“, давно и безнадежно, как мне казалось, ее любившим. Они въехали, а затем в той же квартире, по возвращении из Лондона (зимой 1918 года), поселился будто бы Гумилев, женившийся перед тем на Энгельгардт. В

наступившие голодные и холодные года большевики вселили в бывшую мою квартиру каких-то прачек, которые постепенно сожгли, чтобы не замерзнуть, всю мебель и заодно, на растопку, библиотеку и личный архив (так дымом и ушла прошлая жизнь!)).

Тысяча девятьсот восемнадцатый год — год, без преувеличений, самой интенсивной творческой деятельности Николая Гумилева. Его организаторские способности, деятельная энергия, соединенная с признанным к тому времени мастерством, не могли остаться незамеченными хотя бы по той причине, что и сам он этого не позволил бы. Духовный его подъем, объясняемый возвращением в литературную жизнь, счастливо совпал с открывшимися возможностями. Он переиздает свои книги («Романтические цветы», «Жемчуга»), в течение двух недель одна за другой выходят новые («Мик», «Фарфоровый павильон», «Костер»); кроме того, читает лекции в многочисленных студиях и поэтических объединениях, занимается активной переводческой деятельностью, возвращается к литературной критике, пишет пьесы.

В это же время всероссийский мэтр Максим Горький предложил Гумилеву стать одним из редакторов издательства «Всемирная литература», где Николай Степанович вместе с Блоком и Лозинским стал формировать поэтическую серию. Одновременно Гумилев не столько возрождает, сколько создает новый «Цех поэтов», в который входят Г. Адамович, Г. Иванов, Н. Оцуп и другие.

Говоря о том периоде — и чуть дальше, до 1921 года, — и перечисляя сделанное Гумилевым (кроме перечисленного выше — еще и организация «Звучащей раковины», петроградского отделения «Союза поэтов», создание Дома поэтов и Дома искусств и т. д.), Николай Чуковский приходил к выводу: «Таким образом, все многочисленные поэты Петрограда того времени, и молодые и старые, находились в полной от него зависимости. Без санкции Николая Степановича трудно было не только напечатать свои стихи, но даже просто выступить с чтением стихов на каком-нибудь литературном вечере».

Может быть, так оно и было, хотя столь категоричных утверждений не встречается даже у тех, кто знал Гумилева куда лучше и ближе, чем покойный мемуарист, которому тогда не было и семнадцати лет.

К сожалению, в мемуарах, появившихся в последние годы и возрождающих то время, немало досадных, а временами и странных неточностей. Практически все они требуют дополнительных пояснений и сносок, чьему бы перу ни принадле-

жали — Алексея Толстого или Сергея Маковского, Владимира Пяста или Анны Гумилевой, Андрея Белого или Георгия Адамовича, Николая Оцуа или Владислава Ходасевича. Память со временем подводит, даты и события путаются. Одно время много говорилось о воспоминаниях Ирины Одоевцевой. Безусловно, они интересны как эмоциональные свидетельства очевидца, но достоверность их временами вызывает сомнения: не всегда «любимые ученицы» возвращают любовь своим учителям, особенно когда последние уже не могут им ответить.

Вот и у Николая Чуковского среди многих тонко подмеченных деталей мелькает категоричное: «...Некрасова терпеть не мог». Хотя, отвечая на анкету, предложенную в 1919 году отцом мемуариста, Корнеем Чуковским, Гумилев сам ответил достаточно ясно: «Любите ли Вы стихотворения Некрасова? — Да. Очень». И далее перечислил любимые стихи. И даже добавил: «Некрасов пробудил во мне мысль о возможности активного отношения личности к обществу, пробудил интерес к революции». Слова об «интересе к революции» повисли в воздухе — никогда Гумилев не подкрепил их делом, а вот «активное отношение личности к обществу» в 1918 году проявилось наиболее явно.

Однако, несмотря на колоссальную работоспособность и загруженность, жил Николай Степанович в это время трудно, практически впроголодь, продавая вещи.

Творческая и общественная деятельность Гумилева в первый же год после возвращения из-за границы сделала его одним из самых значительных литературных авторитетов. Десятки выступлений в институтах, студиях, на вечерах принесли ему широкую известность и сформировали вокруг него значительный круг учеников. Хотя Ахматова со свойственной ей откровенностью и говорила ему именно об учениках: «Обезьян растишь», — Гумилев на своих семинарах продолжал учить тому, что поэзия — ремесло, и что, овладев в достаточной мере приемами, можно стать хорошим поэтом. Он даже придумал таблицу и график, которые, по его мнению, показывают, хорош поэт или плох. «Вся эта наивная схоластика была от начала до конца полемичная. Она была направлена, во-первых, против представления, что поэзия является выражением тайного тайных неповторимой человеческой личности, зеркалом подлинной отдельной человеческой души, и, во-вторых, против представления, что поэзия отражает общественные события и сама влияет на них. В те годы оба эти враждебные Гумилеву представления о поэзии с особой силой были выражены в

творчестве Блока... И все эти таблицы с анжембеманами, пиррихиями и эйдологиями были вызовом Блоку. Блок, между прочим, отлично понимал, в кого метит Гумилев...» (Н. Чуковский).

Действительно, все укреплявшийся авторитет Гумилева не мог не оказывать определенного влияния на литературную политику, тем более что и сам Гумилев не только не был в стороне от нее, но и всячески старался на нее воздействовать. И хотя его спор с Блоком касался чаще всего поэзии, это была уже не просто дискуссия представителей разных литературных направлений, — и оба понимали это.

В том, что Гумилев постепенно оттеснял Блока, тоже, если вдуматься, была объективная причина: время требовало энтузиазма, решительной деятельности, а энтузиазм был за Гумилевым. Как подметил один из современников, «в 1918—21 гг. не было, вероятно, среди русских поэтов никого, равного Гумилеву в динамизме непрерывной и самой разнообразной литературной работы... Секрет его был в том, что он, вопреки поверхностному мнению о нем, никого не подавлял своим авторитетом, но всех заряжал энтузиазмом».

Сложные отношения между Блоком и Гумилевым — тема отдельного исследования, и мы еще вернемся к тому, что объединяло поэтов до такой степени, что судьба разлучила их с жизнью в одном и том же августе 1921 года. Оба они внимательно относились к творчеству друг друга, о чем свидетельствуют и взаимные дарственные надписи на книгах, и статьи и лекции Гумилева о Блоке, и записи о Гумилеве в дневниках Блока. Безусловно, к 20-м годам это были две самые значительные величины в столичном литературном мире.

Вышедший в 1918 году сборник стихов Гумилева «Костер» не привлек особого внимания критики. Думается, это можно объяснить прежде всего другими заботами и проблемами, выдвинутыми первым послереволюционным годом. Ибо эта книга, являющая Гумилева, во многом не похожего на прежнего, вызывает интерес тем, что энергия, ранее обращаемая поэтом на экзотику, теперь направлена в иное русло: «Костер» — самая русская по содержанию из всех книг Гумилева. На ее страницах — Андрей Рублев и русская природа, детство, прошедшее в «медом пахнущих лугах», и городок, в котором «крест над церковью взнесен, Символ власти ясной, Отеческой», ледоход на Неве и былинный Вольга...

О стихотворении из этого сборника «Мужик» Марина Цветаева писала, что здесь в четырех строках — «всё о Распутине,

Царице, всей той туче»: «Дорогой Гумилев, есть Тот свет или нет, услышите мою, от лица всей Поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам — как писать стихи, историкам — как писать историю».

В «Костре» поэт продолжает размышлять о тайнах творчества:

Моим рожденные словом,
Гиганты пили вино
Всю ночь, и было багровым,
И было страшным оно.

О, если б кровь мою пили,
Я меньше бы изнемог...

Это уже не те безапелляционные рассуждения, что еще несколько лет назад выходили из-под пера акмеиста. И «Норвежские горы», «Стокгольм», «Эзбеки» — не путевые заметки, не экзотика, а углубленный опыт души. Поэт не препарирует чувство, а пытается его выразить, — и это тоже необычно для бывшего Гумилева. Но иначе и не могли бы появиться такие жемчужины его лирики, как «О тебе» и «Сон».

Стихи «Костра», созданные за военные годы (в том числе и в эмоционально насыщенный «парижский» период), безусловно, имели в себе нечто, что позволило строгому Александру Блоку написать на подаренной Гумилеву книге: «Дорогому Николаю Степановичу Гумилеву — автору „Костра“, читанного не только „днем“, когда я „не понимаю“ стихов, но и ночью, когда понимаю. А. Блок. III. 1919».

Опубликовав летом африканскую поэму «Мик», Гумилев зимою 1918—1919 годов вновь много пишет об Африке. Это своего рода прощальный вздох, воспоминание о том, чему не суждено повториться и что со временем составит яркую книгу «Шатер». Очередной ностальгический всплеск по Музе Дальних Странствий? Скорее — окончательная, последняя, самая полная дань тому, к чему сам когда-то стремился: ведь и на фронте Гумилев мечтал о путешествиях в Африку, прекрасно помнил даже подробности, о чем говорит и служебная «Записка об Абиссинии».

История развития творчества Гумилева — история опозданий. Как поздно закончил он обучение в гимназии, так поздно завершил и поэтическое ученичество; и затем события, происходившие вне собственно литературной и личной жизни, находили глубинное осмысление лишь спустя время. Он попросту не успел высказать свое отношение

к событиям 1917 года в России. Анна Ахматова, говоря о том, почему в его творчестве нет стихов о революции, сказала вернес прочих, толковавших то о непризнании режима, то о контрреволюционности: «Такие стихи несомненно были бы, поживи он еще год, два... Осознание неминуемо явилось бы».

Вот и осознание одного из самых ярких его путешествий, совершенных с племянником, Н. Л. Сверчковым (да и вообще — африканских путешествий как явления), наступило лишь в 1918—1919 годах. Может быть, толчком послужила ранняя смерть племянника, которому затем и был посвящен «Шатер».

Идеей и смыслом, наполнявшими жизнь, для Гумилева была литература. Пространство и время в этом плане для него не имели значения. Так, едва приехав в Петроград из Лондона, он уже 13 мая выступает на организованном обществом «Арзамас» «Вечере петербургских поэтов», в котором принимают участие А. Блок, О. Мандельштам, Г. Иванов, Г. Адамович, М. Кузмин. Летом пишет предисловие к «Матроне из Эфеса» Петрония (впервые опубликовано в 1923 г. в книге «Тит Петроний Арбитр. Матрона из Эфеса. Перевод с латинского. Послесловие и примечания Г. И. Гидони»). За лето сделал перевод ассиро-вавилонского эпоса «Гильгамеш», ни разу, кстати, не обратившись к знатоку этого эпоса В. Шилейко, — видимо, еще не мог привыкнуть к тому, что Ахматова теперь — жена Шилейко. А уж к концу лета вошел и в редакционную коллегию (как редактор переводной литературы и одновременно заведующий сектором французской литературы) издательства «Всемирная литература»: в отличие от разовых выступлений и периодических публикаций это был постоянный кусок хлеба.

Глобальные (еще одно веяние времени) планы издательства были заведомо неисполнимы, но теперь всё мыслилось во всемирных, глобальных масштабах. Считалось, что сотни томов того духовно лучшего, что накопило человечество, можно подготовить и издать в короткие сроки. В планах издательства, в частности, было создать пять тысяч драм, охватывающих всю историю цивилизации, и даже деньги под это были получены.

С энтузиазмом войдя в дела нового издательства, Гумилев одновременно ведет занятия в студии при «Всемирной литературе», входит в совет ДИСКА (Дома искусств на углу Мойки и Невского), создает журнал «Дом искусств», читает лекции в литературной студии при этом Доме. У него хватает сил и на семинары в Институте живого слова, на преподавание в

коммуне милиционеров, в Пролеткульте, в Балтфлоте... Специально для открывающегося Детского театра пишет он пьесу «Дерево превращений»...

Корней Чуковский пояснял причины этакой «многоэтажности»:

«Так как печатание книг из-за отсутствия бумаги в те дни почти прекратилось, главным заработком многих писателей стали эти занятия в литературных кружках. Гумилев в первые же месяцы стал одним из наиболее деятельных студийных работников, и хотя он никогда не старался подольститься к своим многочисленным слушателям, а, напротив, был требователен и даже суров, все они с первых же дней горячо привязались к нему, часто провожали его гурьбой по улице, и число их из недели в неделю росло. Особенно полюбили его пролеткультовцы. Между тем курс его был очень труден. Поэт изготовил около десятка таблиц, которые его слушатели обязаны были вы зубрить: таблицы рифм, таблицы сюжетов, таблицы эпитетов... от всего этого слегка веяло средневековыми догмами, но это-то и нравилось слушателям, так как они жаждали верить, что на свете существуют устойчивые, твердые законы поэтики, не подверженные никаким изменениям, — и что тому, кто усвоит как следует эти законы, будет наверняка обеспечено высокое звание Поэта (счастье, что сам-то Гумилев никогда не следовал заповедям своих замысловатых таблиц).

Даже его надменность пришлась по душе его слушателям. Им казалось, что таков и должен быть подлинный мастер в обращении со своими подмастерьями. Гумилев с самого начала уведомил их, что он „синдик Цеха поэтов“, и хотя слушатели никогда не слыхали о синдиках, они, увидя его гордую осанку, услышав его начальственный голос, сразу же уверовали, что это очень важный и многозначительный чин... Ни о чем другом, кроме поэзии, поэтической техники, он никогда не говорил со своими питомцами, и дисциплина на его занятиях была образцовая».

Подобных студий, кружков и семинаров в Петрограде послереволюционных лет были десятки: едва ли не всем, кто владел грамотой, хотелось стать писателями. Конечно, Н. Гумилев, как и прочие руководители (Е. Замятин, В. Шилейко, В. Шкловский, К. Чуковский, М. Лозинский и другие), нес в «массы» некоторые свои взгляды на творчество, но основной причиной, толкавшей на руководство всеми этими студиями, была элементарная нужда, ибо не хватало даже черного хлеба с примесями, приходилось обменивать на него книги, вещи, одежду. Голод вынуждал браться

за любую оплачиваемую работу — переводы, редактуру, выступления.

Но в то же время по характеру своему Николай Степанович не мог исполнять работу кое-как, и потому даже сделанное им для заработка заслуживает внимания как именно работа мастера. Это относится и к переводу «Гильгамеша», и к переводам Колриджа («Поэма о старом моряке»), Роллана, Вольтера, Байрона, Гейне, Соути, Леконта де Лиля, Рембо и других авторов. Его переводческое мастерство характеризовалось отточенностью, филигранностью. Свои воззрения на этот вид литературной деятельности Гумилев затем высказал в статье «Переводы стихотворные», опубликованной в сборнике «Принципы художественного перевода»:

«Существуют три способа переводить стихи: при первом переводчик пользуется случайно пришедшим ему в голову размером и сочетанием рифм, своим собственным словарем, часто чуждым автору, по личному усмотрению то удлиняет, то сокращает подлинник; ясно, что такой перевод можно назвать только любительским.

При втором способе переводчик поступает в общем так же, только приводя теоретическое оправдание своему поступку; он уверяет, что если бы переводимый поэт писал по-русски, он писал бы именно так... XIX век отверг этот способ, но следы его сохранились до наших дней. И теперь еще некоторые думают, что можно заменять один размер другим, например шестистопный пятистопным, отказываться от рифм, вводить новые образы и так далее. Сохраненный дух должен оправдать все. Однако поэт, достойный этого имени, пользуется именно формой, как единственным средством выразить дух. Как это делается, я и постараюсь наметить сейчас».

Посвятив статью дотошнейшему исследованию особенностей перевода (передача образа, сохранение пропорций, звуковой стороны и т. д.), он так завершает эту небольшую, но емкую работу:

«Повторим же вкратце, что обязательно соблюдать: 1) число строк, 2) метр и размер, 3) чередование рифм, 4) характер enjambement, 5) характер рифм, 6) характер словаря, 7) тип сравнений, 8) особые приемы, 9) переходы тона.

Таковы девять заповедей для переводчика; так как их на одну меньше, чем Моисеевых, я надеюсь, что они будут лучше исполняться».

Для самого Гумилева это были не просто теоретические выводы — он неукоснительно следовал им в своей работе, и в этом смысле они — скорее фиксация собственного опыта. Во «Всемирной литературе» не раз разгорались споры о прин-

циях перевода, но Николай Степанович твердо стоял на своем, возвращая рукописи, если обнаруживал в них неточное следование букве и духу оригинала, вольные трактовки. Поэтому и сам старался поручать работу только квалифицированным переводчикам. По этой причине, а также, видимо, зная о трудном финансовом положении семьи Шилейко — Ахматовой, он даже своего любимого Теофиля Готье передал для перевода Владимиру Шилейко, устроив его на работу в издательство. Отношение к Анне Андреевне Гумилев сохранил уважительное, дружеское и очень доброе. Так, рецензируя в ноябре 1918 года в «Жизни искусства» сборник «Арион», он писал в частности, что «Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний, и каждой современной поэтессе, чтобы найти себя, надо пройти через ее творчество». И в многочисленных своих лекциях он неизменно высоко отзывался о ее поэзии.

Как уже говорилось, в 1918—1919 годах, помимо активной организаторской и переводческой деятельности, Николай Степанович немало сил отдавал драматургии — как читая теоретические курсы, так и создавая свои пьесы. Вернувшись из-за границы, он сразу же, с апреля 1918 года, начал работать в репертуарной секции при Театральном отделе Наркомпроса, где в начале 1919 года и сменил Александра Блока на посту председателя секции. Со временем его «Охота на носорога» и «Отравленная туника» вошли в число пьес, из которых мечтатель-глобалист М. Горький хотел создать цикл «История культуры в картинах». У Д. Золотницкого читаем: «Кроме того, Гумилев дал секции исторических картин... двухактное представление по хронике Шекспира „Фальстаф“, сценарий массового действия „Завоевание Мексики“. Вместе с академиком С. Ф. Ольденбургом была написана пьеса „Жизнь Будды“, с академиком И. Ю. Крачковским — киносценарий „Пир Гарун-аль-Рашида“ по мотивам арабских сказок „Тысяча и одна ночь“. Не все эти вещи пока разысканы. От некоторых остались только фрагменты. Такова судьба пьесы Гумилева „Красота Морни“. В отчете о деятельности секции по 1 марта 1920 года говорилось: „Готова пьеса Н. С. Гумилева „Красота Морни“. Однако целиком текст до нас не дошел».

Кроме драмы из ирландской жизни «Красота Морни» и пьес, о которых шла речь выше, Гумилев пишет драматические сцены «Ахилл и Одиссей», «Три жены мандарина», «Зеленый тюльпан»; в театре «Студия» на Литейном в феврале 1919 года идет его пьеса-сказка для детей «Дерево превращений» — о растущем в Индии волшебном

дереве, плоды которого позволяют принимать съевшему их другой облик.

Известно, что в судьбе некоторых пьес Н. Гумилева принимал участие М. Горький. Конечно, в целом задумка написать пять тысяч пьес не удалась, но сама идея дала возможность собрать воедино такие исторические произведения, как «Парижская коммуна» Виктора Шкловского, «Рамзес» Александра Блока, «Смерть Коперника» Ольги Форш, «Дантон» М. Левберг, «Огни св. Доминика» Евгения Замятина и многие другие пьесы.

Гибель Николая Гумилева в 1921 году не дала зрителям привыкнуть к его драматургии, да и самому ему — полностью раскрыться. Тем более что после расстрела от памяти об «одиозном» поэте власти старались поскорее избавиться. Когда в начале 1922 года на первом представлении «Гондлы» публика стала кричать: «Автора!», — пьесу тут же сняли с репертуара, и больше ни она, ни прочие драматические его произведения на сцене не появлялись, словно велено было и самого Гумилева «снять с литературы». Но слишком много сделано было Николаем Гумилевым, чтобы можно было так просто отказаться от его наследия, вычеркнуть сделанное из истории литературы. Тем более что поэтическая, переводческая, организаторская и драматургическая деятельность его органично дополнялась и расширялась деятельностью литературно-критической. Так, переводя с французского перевода П. Дорма древневавилонский эпос «Гильгамеш», Гумилев не ограничивается «толмачеством», но и пишет теоретическое вступление. Кстати, когда «Гильгамеш» вышел в свет в издательстве Зиновия Гржебина, Николай Степанович написал на одном из экземпляров шуточную историю этого труда:

Над сим Гильгамешем трудились
Три мастера, равных друг другу:
Был первым Син-Ли-Ки-Уинни,
Вторым был Владимир Шилейко,
Михал Леонидыч Лозинский
Был третьим. А я, недостойный,
Один на обложку попал.

Этот экземпляр и был передан Гумилевым Лозинскому.

Увлечшись Байроном, поэт пишет предисловия к «Дон Жуану», «Каину», «Сарданапалу», «Марио Фальеро», «Корсару», «Ларе». Сдает вступительную статью к тому стихотворений Теофиля Готье и делает примечания. Переводит Р. Броунинга, Эредиа, Гейне, Мореаса, Гриффена. Пишет предисло-

вие к книге французских народных песен, выказывая глубокие познания в фольклоре. Предваряет своими статьями книги английских поэтов-романтиков «Озерной школы». Создает прекрасное исследование о творчестве «одного из величайших поэтов» — Шарля Бодлера. Завершает биографический портрет А. К. Толстого. В июне 1919 года в № 8 «Вестника литературы» напечатано под рубрикой «Чем заняты наши писатели»: «„Усиленно занят своим трудом, касающимся теории поэзии“, сообщает поэт Гумилев. Там, в этом труде, он подводит итоги своим лекциям, которые были им прочитаны за истекшую зиму. Затем поэт занят сейчас писанием детской поэмы из китайско-индусского мира. Заканчивает четвертую главу. Для издательства „Всемирная литература“ Гумилев переводит „Орлеанскую девственницу“ Вольтера. Текущим летом Гумилев снова начал писать оригинальные стихотворения...»

Да, действительно, если ранее выступления носили общий характер (мартовское — на вечере писателей в театре «Гротеск», или ноябрьское — на вечере памяти де Лиля, или целевое — четыре лекции о поэзии Блока), то к зиме поэт публично читает новые стихи — и в предпринятом совместно с Михаилом Кузминым литературном турне в Москву, где выступал в Политехническом музее; и на фабрике изготовления госзнаков; и на вечере в петроградском Доме искусств, где прозвучали стихотворения «Подражание персидскому», «Персидская миниатюра», «Пьяный дервиш» и другие.

Литературная критика вновь заговорила о Гумилеве, отмечая разносторонность его дарования: в течение 1919 года были отрецензированы такие значительные работы, вышедшие из-под его пера, как «Гильгамеш», «Фарфоровый павильон», «Дерево превращений», «Принципы художественного перевода»... Но в то же время в печати проскальзывало и недоброе отношение к нему. Исследователь Серебряного Века русской поэзии М. Кралин не так давно сделал предположение, что косвенно в гибели Н. Гумилева был виновен и... Николай Пунин.

Да, люди из ахматовского круга — и бывшего (Б. Анреп), и будущего (Н. Пунин) — всю жизнь сопровождали поэта. И, читая статью, опубликованную в декабре 1918 года будущим мужем Анны Андреевны Н. Пуниным, видишь, что современный исследователь не так уж далек от истины в страшном своем предположении. Особенно если учесть, что тогда уже вовсю бушевал террор, сотнями расстреливали белую гвардию. А в злой, недвусмысленно доносовой статье Н. Пунина — всего лишь одно имя — Гумилев:

«...Мы вышли год тому назад из-под многолетнего гнета тусклой, изнеженно-развратной буржуазной эстетики. При-знаюсь, я лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение всего этого года отчасти потому, что перестали писать или, по крайней мере, печататься некоторые „критики“ и читаться некоторые поэты (Гумилев, напр.). И вдруг я встречаюсь с ними снова в „советских кругах“. Они не изменились за это время, ни одним волосом. Те же ужимки, те же стилистические выкрутасы... Этому воскрешению я в конечном итоге не удивлен. Для меня это — одно из многочисленных проявлений неусыпной реакции, которая то там, то здесь нет-нет, да и подымет свою битую голову... На этом небольшом, но характерном примере мы можем многому научиться. И прежде всего тому, что опасность реакции может исходить именно изнутри, из среды, близко стоящей к советским кругам, от лиц, пробравшихся в эти круги, по-видимому, с заранее определенной целью... Наконец, поучительна и сама форма реакционного воздействия. Политические авантюры не удались, не воскресить учредилки, так давай дойдем их искусством... Привыкнул к нашему искусству, привыкнул и к нашим методам, а там недалеко и до наших политических теорий. Так рассуждает эта притаившаяся и не мертвая, нет-нет, еще не мертвая, гидра реакции...»

Две особенности цитированной статьи: во-первых, стремление привлечь внимание властей и репрессивных органов, во-вторых — одна-единственная в таком вот контексте фамилия.

В восемнадцатом году расстреливающая и рубящая головы машина была уже перегружена, и потому пунинский донос до поры остался невостребованным. Но, надо полагать, творческого энтузиазма и вдохновения Гумилеву он не прибавил. Гумилеву, который к тому же, по единодушному убеждению всех мемуаристов, был аполитичен, «не желал замечать революцию» (Н. Оцуп), был чужд борьбы партий, считал, что «поэт должен стоять над политикой и не вмешиваться в нее» (П. Лукницкий).

Практически вся жизнь Николая Гумилева с восемнадцатого года — сплошная борьба за выживание: добывание хлеба для себя и семьи. То, что в таких условиях он создавал значительные литературные произведения — такие, как «Поэма начала», «Заблудившийся трамвай», «Звездный ужас», стихи «Шатра», — это своего рода литературный подвиг. Кроме поэзии, ничего для него не существовало в мире. Поэзия была единственным, без чего он точно умер бы.

Несколько раз Гумилев ездил в Бежецк, где старая мать спасала от голодной смерти его детей — сына и дочь. Увы,

вторая жена не желала «прозябать» в относительно сытой глуши и требовала, чтобы муж забрал ее в Петроград, что, наконец, и пришлось сделать; а затем пришлось отдать дочь Лену в детдом, так как Анна Николаевна не могла в Петрограде ухаживать за ней без помощи бабушки. Конечно, и эти неурядицы угнетающе действовали на Николая Степановича, предельно загруженного ежедневной работой. А тут еще политические нападки: и в стране, и извне, за границей, — в частности, знаменитое письмо Дмитрия Мережковского, эмигрировавшего во Францию. В своей публикации Мережковский обвинял «Всемирную литературу» в пособничестве властям, в спекуляции талантами. Сам Гумилев никуда «бежать» не собирался, его глубоко оскорбил выпад Мережковского, и по поручению коллегии издательства он написал ответ:

«„Всемирная литература” — издательство не политическое. Его ответственный перед властью руководитель, Максим Горький, добился в этом отношении полной свободы для своих сотрудников. Разумеется, в коллегии экспертов, ведающей идейной стороной издательства, есть люди самых разнообразных убеждений, и чистой случайностью надо признать факт, что в числе шестнадцати человек, составляющих ее, нет ни одного члена Российской коммунистической партии. Однако все они сходятся в убеждении, что в наше трудное и страшное время спасенье духовной культуры страны возможно только путем работы каждого в той области, которую он свободно избрал себе прежде. Не по вине издательства эта работа его сотрудников протекает в условиях, которые трудно и представить себе нашим зарубежным товарищам. Мимо нее можно пройти в молчании, но гикать и улюлюкать над ней могут только люди, не сознающие, что они делают, или не уважающие самих себя».

В этом сдержанном, полном достоинства ответе выражено отношение Гумилева к делу, которому он свято служил: культуру надо спасать, а для этого можно жертвовать бытовым благополучием и комфортом.

Этим отчасти объясняется и то, почему он продолжал и в двадцатом году ходить в уже надоевшие, отнимавшие силы студии:

«Я вожусь с малодаровитой молодежью не потому, что хочу сделать их поэтами. Это, конечно, немыслимо — поэтами рождаются, — я хочу помочь им по-человечески. Разве стихи не облегчают, как будто сбросил с себя что-то? Надо, чтобы все могли лечить себя писанием стихов».

Но это не являлось лишь благодушием, желанием быть «добреньким», ибо оставался и основной принцип:

«Над стихом надо изводиться, как пианисту над клавишами, чтобы усвоить технику. Это не одно вдохновение, но и трудная наука. Легче ювелиру выучиться чеканить драгоценные металлы... А ведь наш русский язык именно драгоценнейший из них. Нет в мире другого, равного ему — по красоте звука и по гармонии концепции».

В этом смысле Гумилев был и остался поистине брахманом поэзии, «чистого искусства», и мог сказать о себе словами пушкинского героя:

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою...

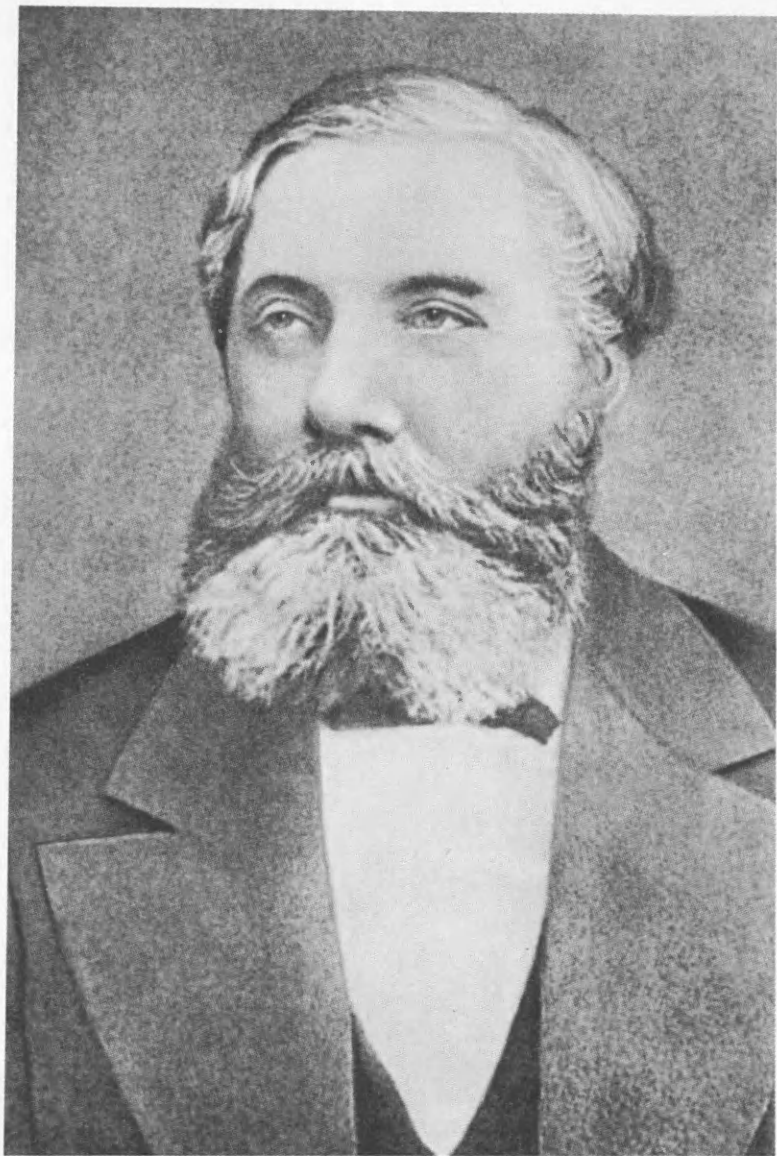
Не зря Александр Амфитеатров говорил о нем, что не было писателя в петроградских литературных кругах, «более далекого от политики, чем этот цельный и самый выразительный жрец „искусства для искусства“... Он был именно цеховой поэт, то есть поэт и только поэт, сознательно и умышленно ограничивающий себя рамками стихотворного ритма и рифмы. Он даже не любил, чтобы его называли „писателем“, „литератором“, резко отделяя „поэта“ от этих определений в особый, магически очерченный круг, возвышенный над миром, наподобие как бы некоего амвона»; что он принадлежал «к типу благородных, аристократических поэтов, неохотно спускавшихся с Неба на Землю, упорно стоявших за свою привилегию говорить глаголом богов».

Однако на грешную Землю все же приходилось спускаться, и достаточно часто. Конечно, можно было на святках в 1920 году появиться на бале в Институте Истории Искусств во фраке, игнорируя толпу в шубах и валенках (в промерзшем-то каменном доме!) и всем своим видом давая понять: «Ничего не произошло. Революция? Не слышал» (этот эпизод вспоминала Ахматова, но более эмоционально он зафиксирован В. Ходасевичем). Но все же никуда было не деться от ежедневного холода и недоедания, от походов на Мальцевский рынок, чтобы продать одежду, — разве что в Дом литераторов, где было натоплено и водился горячий чай. Приходилось и прибегать к помощи вездесущего Николая Оцупа, которого во «Всемирной литературе» избрали председателем хозяйственного комитета; Оцуп имел талант добывать дрова, продукты, одежду, — за это ему прощалось отсутствие поэтического таланта. Видимо, и сам Оцуп знал, что в поэзии не блещет, поэтому старался всегда быть поближе к Гумилеву, спасаясь от нападков критики. Кстати, и во второй «Цех поэтов» Николай Оцуп вошел благодаря основ-



Николай Степанович Гумилёв. Фотография 1906 или 1907 года

Заказ № 1053. вклейка



Отец поэта, Степан Яковлевич Гумилёв.
Фотография предположительно 1884 года



Мать поэта, Анна Ивановна Гумилёва, урождённая Львова.
Фотография предположительно 1884 года



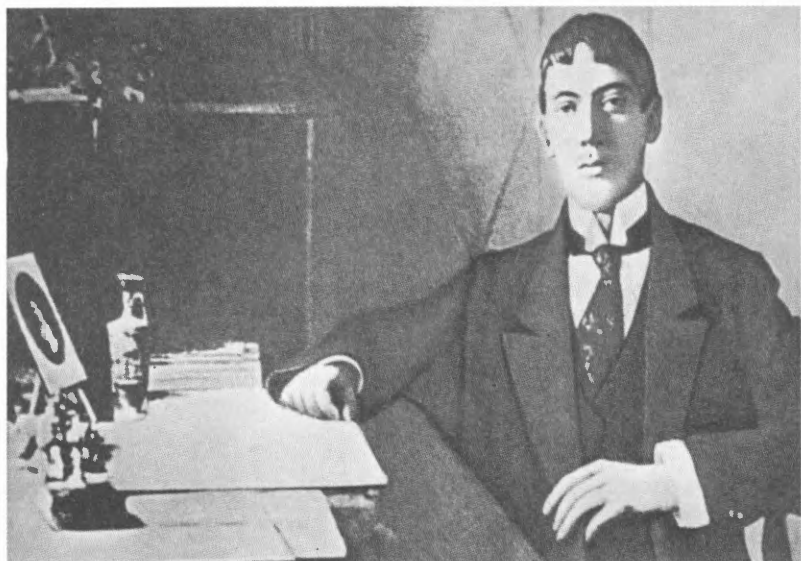
Николай Степанович Гумилёв. Фотография предположительно 1909 года



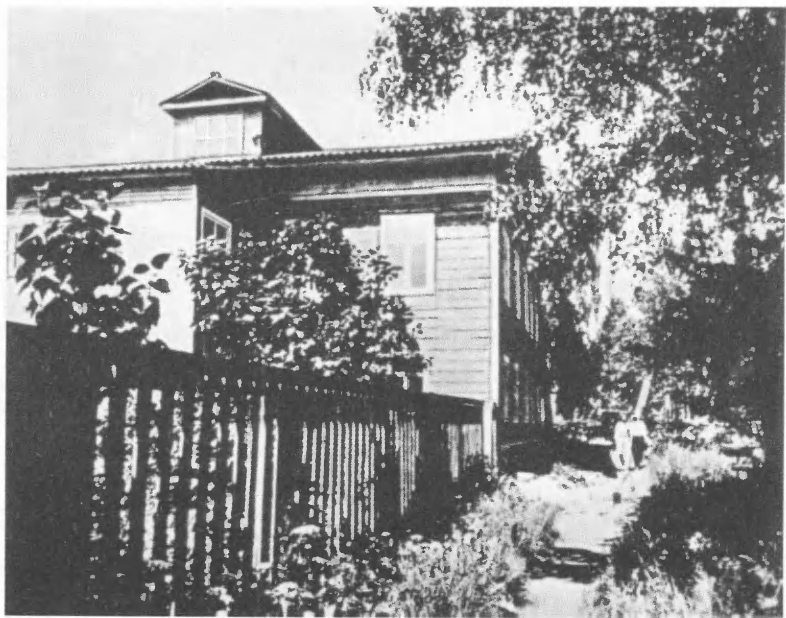
Анна Андреевна Горенко (Анна Ахматова). Фотография 1905 года



Николай Степанович Гумилёв. Рисунок Н. С. Войтинской.
Впервые опубликован в журнале «Аполлон», 1909, № 2



Николай Степанович Гумилёв. *Фотография 1913 года*



Дом Гумилёвых в усадьбе Слепнёво, где семья жила с 1911 по 1917 год



Дом в Бежецке, где жила мать Николая Степановича Гумилёва
с внуком Львом



В Слепнёве, 1912 год. Стоят (справа налево): Мария Кузьмина-Караваева, Анна Ахматова, Елизавета Кузьмина-Караваева (в будущем — Мать Мария) и Дмитрий Бушен



Николай Степанович Гумилёв. Фотография 1914 года (декабрь)



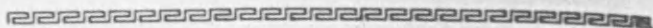
Анна Андреевна Ахматова. Фотография 1922 года



Николай Степанович Гумилёв и Анна Андреевна Ахматова с сыном Львом.
Фотография 1914 года (декабрь)

ДОМ ИСКУССТВ

Мойка, 59.



В Понедельник, 2-го Августа

== ВЕЧЕР ==

Н. ГУМИЛЕВА

1) Из африканских воспоминаний
(проза).

2) „Дитя Аллаха“
(Драматическая поэма).

3) Стихи.

НАЧАЛО В 7 ЧАС. ВЕЧ.

БИЛЕТЫ В ДОМЕ ИСКУССТВ.

Ставл. режиссер № 2732

Тип. Дрейдон, Маломосковская, 9—10.

В. Ч. К.

ДЕЛО № 214224

„Л Б О“

Союзастники.

(Гумилев Н. С. - 104. пог.)

ТОМ № 177

Арх. № _____ в 382 томах

Углублен. Демонстрация

Российская Коммунистическая

Пролетарии

ПЕТРОГРАДСКАЯ

ПРАВДА

Орган Петрогр. Губерн. Комитета Гос. Безопас. России.

18-й год изд.

№ 181. Четверг.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

28) Перинкова, Ал-дра, Модестовна, 24 л., дочь жандарма, учительница, беспартийная, участница П. Б. О., переписывала на машинке сведения и прокламации организации и разносила письма по поручению членов организации; сознательно предоставляла свою квартиру для членов организации.

29) Гимельфабр, Семен Григорьевич, 47 л., б. владелец Павильон-де-пари, беспартийный, зав. хоз. цементного завода; участник П. Б. О., дал согласие на снабжение оружием курьеру финской разведки и члену организации Толь; вербовал членов организации; изыскивал денежные средства для организации.

30) Гумилев, Николай Степанович, 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии „Из-во Всемирной Литературы“, беспартийный, б. офицер. Участник П. Б. О., активно содействовал составлению прокламаций к.-револ. содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу ните агентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности.

31) Ястребов, Николай Иванович, 32 г., кр-н Воронежской губ., член коллегии Мурманского Железнодорожного управления, член правления Петрогр. центр. раб. кооператива, член С. Д. Р. П. с 1905 г. до начала 18 г. Имел сношения с главой П. Б. О. Таганцевым на предмет оказания ему, как предста-

ному своему таланту добытчика, и в третий, созданный уже в 1921 году.

Впрочем, к этому времени сам по себе «Цех» утратил свою эстетическую функцию, так как 4 июля 1920 года на общем собрании поэтов Петрограда был образован Петроградский Союз поэтов во главе с председателем А. Блоком, при секретаре Вс. Рождественском (правда, Блоку недолго суждено было возглавлять Союз).

К сказанному выше о конфликте между Блоком и Гумилевым можно добавить, что сам конфликт был чрезвычайно завуалированным и сложным. Они уважали друг друга при полном несовпадении позиций. Вс. Рождественский запомнил эпизод, тонко характеризующий их отношение друг к другу:

«Однажды после долгого и бесплодного спора (с Блоком. — *И. П.*) Гумилев отошел в сторону, явно чем-то раздраженный.

— Вот смотрите,— сказал он мне.— Этот человек упрям необыкновенно. Он не хочет понять самых очевидных истин. В этом разговоре он чуть не вывел меня из равновесия...

— Да, но Вы беседовали с ним необычайно почтительно и ничего не могли ему возразить.

Гумилев быстро и удивленно взглянул на меня.

— А что бы я мог сделать? Вообразите, что Вы разговариваете с живым Лермонтовым. Что бы Вы могли ему сказать, о чем спорить?»

И тем не менее, несмотря на почтение к Блоку, в 1921 году именно Гумилеву суждено было занять блоковское кресло председателя в Союзе поэтов. Их частые, едва ли не ежедневные рабочие встречи во «Всемирной литературе», в Институте Зубова, у К. Чуковского, на вечерах почти прекратились, теоретические споры обострились (об этом можно судить хотя бы по знаменитой статье Блока «Без божества, без вдохновенья», написанной им для первого номера создаваемой «Литературной газеты», но опубликованной после).

О разногласиях двух поэтов писали и будут писать многие. Как и об их роковой, почти одновременной гибели. Но, думается, есть смысл, забегаая на год вперед, высказать и еще несколько мыслей на сей счет. «Большое видится на расстоянии», и сейчас, десятилетия спустя, ясно, что «конфликт» почти забылся, а поэты, их творчество, их трагические судьбы продолжают волновать. Разве только о своем поколении про- рочески писал Блок? —

Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!..

Да, петроградские поэтические полюсы двадцать первого года персонифицированы: Блок и Гумилев. С их почти одновременной гибелью в августе 1921-го петербургская поэтика оказалась размагниченной. После Блока и Гумилева осталось немало значительных литературных личностей, даже звезд, но исчезло состояние Пламени и Льда. Их творческое противоборство было жестким и даже резким, и все же его внутренняя уважительность нам теперь и не снится.

Похоронивший своим манифестом символизм, Гумилев читает публичные лекции о Блоке и пишет статьи о нем. Блок дарит Гумилеву свои книги. Они вместе работают во «Всемирной литературе» — переводят, редактируют, спорят, заседают, обсуждают. Это — хлеб. В остальном — творческая дуэль.

«Для Блока его поэзия была первейшим, реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни. Для Гумилева она была формой литературной деятельности. Блок был поэтом всегда, в каждую минуту своей жизни. Гумилев — лишь тогда, когда он писал стихи. Все это (и многое другое) завершилось тем, что они терпеть не могли друг друга — и этого не скрывали», — напишет в 1926 году из парижских далей неврастенический Ходасевич, который был знаком с обоими героями очерка лишь год. И тут же опровергнет себя: «...Гумилев был порою даже блестящ. Не меньше, а больше Брюсова, притом неизмеримо благородней и бескорыстней любил он поэзию. В суждениях он старался быть беспристрастным, это встречается не так часто».

Даже Ходасевич не смог расставить акценты и, вероятно, поэтому выкинул затем строки о Гумилеве и Брюсове из своей книги «Некрополь», опубликованной в Брюсселе в 1939 году (теперь их мало кто знает). Потому что не все так просто: Лед и Пламень — это не черное и белое. Даже если знать, что неприемлемые для Гумилева представления о поэзии с особой силой были выражены в творчестве Блока и Блок «отлично понимал, в кого метит Гумилев...» (Н. Чуковский). Даже если знать, что увеличивавшееся с каждым годом влияние Гумилева на литературную молодежь «Блок считал духовно и поэтически пагубным» (В. Ходасевич). Даже если вспомнить сделанную больным Блоком за два месяца до смерти, 25 мая 1921 года, запись в

дневнике: «В феврале меня выгнали из Союза и выбрали председателем Гумилева».

Судьбе было угодно в одном и том же месяце поставить точку на жизненном пути одного из них — в воскресенье, 7 августа, в своей квартире, в присутствии матери и жены; и свинцовое многоточие на жизненном пути другого — в невыясненный день, в неизвестном месте, без «лишних» свидетелей. Столь же отличны и посмертные их судьбы: звучная, как и сама фамилия, — Блока; и почти семьдесят лет закрытая густой темной вуалью — Гумилева.

«...Петербург двадцать первого года, тысяча девятьсот двадцать первого года Господня, тот Петербург, где мы Блока хоронили, где мы Гумилева не могли похоронить» — скажет потом навсегда покинувший в 1924 году Россию Владимир Вейдле, один из лучших литературоведов Русского Зарубежья. И если Блок, говоря о Гумилеве и Горьком, пророчески обронил, что они «не ведали о трагедии — о двух правдах», то сдержанный Вейдле, думая о Гумилеве, добавил более решительно и резко: «Гораздо правильней сказать, что в его лице революция пристрелила ненужную ей поэзию».

Много ли надо фантазии, чтоб догадаться, что и сам Блок «умер от смерти» лишь потому, что не дожил, ну, хотя бы до тридцать седьмого года.

Если Гумилева революция в лице полуграмотного следователя Якобсона просто поставила к стенке, даже не выяснив, кто «пущен в расход» (*Гумелев, Гумилевич, Гумилевский? Станиславович, Степанович, Сергеевич?* — да, именно так — вернее, то так, то эдак — в «деле»), то Блоку она «позволила» медленно и мучительно умереть.

Что бы там ни говорили (особенно после поднятой в 1989 году кампании в защиту Луначарского) о любви и самого наркома просвещения, и всего ЦК партии к отечественной поэзии, но иначе как издевательством над умирающим поэтом нельзя назвать ту давнюю историю с визой для Блока. Когда консилиум из трех врачей приходит к выводу: «Мы потеряли Блока» — и, как за последнюю соломинку, хватается за возможность лечения в Финляндии (рукой подать от Петрограда, еще почти Россия!), начинаются долгие хлопоты о визе — несмотря на то, что больной в критическом состоянии. Хлопочет Горький, пишет в ЦК партии Луначарский, копия письма направляется Ленину; 1 августа (за 6 дней до смерти поэта) Луначарский снова ходатайствует — на сей раз о разрешении для жены Блока... И разрешение пришло — правда, после смерти поэта (см. об этом хотя бы мемуары тетки Александра Блока, М. А. Бскетовой, проверенные матерью и

женой поэта и впервые изданные еще в 1922 году, когда все свежо было в памяти: года не прошло со дня похорон).

Может быть, мысль В. Вейдле об одном поэте («в его лице революция пристрелила ненужную ей поэзию») не только к тому одному поэту можно отнести? Иначе чем же еще объяснить *такую* волокиту на *таком* уровне?

Тут уж невольно вспомнится старая, прозвучавшая со страниц «Последних новостей» и «Новой русской жизни», догадка А. Амфитеатрова о «таганцевском заговоре»:

«По первому следствию вина супругов Таганцевых была признана настолько сомнительной, что ему дали двухлетние принудительные работы, жене (уж вовсе неизвестно за что привлеченной) — один год. Но как раз перед этим престарелый отец В. Н. [Таганцева], знаменитый юрист Н. С. Таганцев, обратился к Ленину с ходатайством за сына. Ленин ответил любезною телеграммой с предписанием пересмотреть дело. Телеграмма сошлась с уже готовым было приговором и механически его остановила. Следственная канитель возобновилась... Тогда чрезвычайка, обозленная вмешательством премьера в ее самовластную компетенцию, особенно постаралась превратить В. Н. Таганцева в ужасного государственного преступника. Другие с большим скептицизмом и с большой вероятностью утверждают, что вся эта история с телеграммой — незамысловатое повторение старой комедии с расстрелянием великих князей. Как тогда М. Горький привез в Петроград письменное разрешение взять их на поруки, а куда он ехал, Москва приказала по телефону поскорее расстрелять, так и теперь циническая телефонограмма — засудить во что бы то ни стало — обогнала и отменила лицемерную телеграмму».

Именно по «таганцевскому делу» «проходил» Гумилев...

Но если по телефону можно приказать «засудить», то почему по тому же телефону, без долгой переписки, нельзя дать разрешение на выезд в Финляндию для лечения? Тем более — автору революционной поэмы «Двенадцать». Или, по его же словам, — «из-под маски лицемерной Смеются лживые уста»? Или — предчувствие не обмануло его, и уже над сожженной революцией страну

Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах...

Или — разве не разгул двадцать первого года, агонически сметающий все барьеры приличий, встретил Блока за три

месяца до смерти в московском Доме Печати воплями: «Труп! Мертвец!»? Ведь эти вопли — не спор с Гумилевым, пусть даже самый резкий, а подталкивание к могиле.

Не зря, видно, один из последних экспромтов Гумилева (о переименовании новыми властями Царского Села — в Детское) таков:

Не Царское Село — к несчастью,
А Детское село — ей-ей.
Что ж лучше: быть царей под властью,
Иль быть забавой злых детей?

Даже далекий от политики Пастернак увидел и почувствовал дикость этого кровавого разгула еще в 1918 году, когда написал, думая о расстреле кронштадтских матросов и о том, что Бог не должен был этого допустить:

Стал забываться за красным желтый
Твой луговой, вдохновенный рассвет.
Где Ты? На чьи небеса перешел Ты?
Здесь, над русскими, здесь Тебя нет.

И шестьдесят два года пролежали эти строки в архиве, пока в 1984 году не увидели свет в «Новом журнале».

...Когда П. А. Вяземский узнал о смерти Лермонтова, он записал: «Это может подать повод ко многим размышлениям. Я говорю, что в нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Людвига Филиппа: вот уж второй раз, что не дают промаха». И это в годы как только не заклеименного самодержавия, когда единицы казненных декабристов стали героями российской истории, российской интеллигенции, а смерть поэта на многие десятилетия взбудоражила общественное сознание.

После семнадцатого года счет пошел на тысячи и сотни тысяч. И даже школьные учебники стали затем заботливо оберегать от правды о гибели и Есенина, и Маяковского, и Фадеева... Потому что шли, по слову Блока, и продолжали идти еще десятилетия, и идут сейчас

...без имени святого
Все двенадцать — вдаль,
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

Блоковеды усердно хвалят поэта за революционность, едва ли не всё сводя к написанной через два месяца после октябрьских событий поэме «Двенадцать» и к созданной в январе восемнадцатого статье «Интеллигенция и Революция», закан-

чивающейся призывом: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».

Но не потому ли испытал нервный срыв Блок, что сам спустя три года вслушался в нее именно «всем сознанием» — и понял, что обманут: не такую революцию ждал и приветствовал он.

Ни Гумилев, ни Блок не покинули страну, хотя имели возможность сделать это наряду с десятками других уезжающих. Ни Гумилев, ни Блок не выступали против существующей власти. Гумилев в анкете писал: «Аполитичен»; Блок — в заметке «Может ли интеллигенция работать с большевиками?»: «Я политически безграмотен...» Они были прежде всего — поэтами, носителями культуры — отечественной и мировой, нравственности — российской и человеческой, людьми доверчивыми и эмоциональными. А потому и были обмануты. Гумилев — когда поверил в законность и порядочность ЧК. Блок — когда принял за истину фальшивые лозунги революции («Декреты большевиков — это символы интеллигенции»), не осуществленные и по сей день.

Сказав о Гумилеве и Горьком, что те «не ведали о трагедии — о двух правдах», Блок и сам в полной мере не ведал об этой трагедии. Не вина обманутых в том, что они обмануты, а именно — трагедия. Она и была явлена в августе двадцать первого.

Мы говорим об этой трагедии спустя семь десятилетий. Но разве за семьдесят лет до нее не о ней же, в известной мере продолжающейся и по сей день, написал А. И. Герцен:

«В самые худшие времена европейской истории мы встречали некоторое уважение к личности, некоторое признание независимости — некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря на всю гнусность тогдашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение, Лессинга не секли или не отдали в солдаты. В том уважении не к одной материальной, но и к нравственной силе, в том невольном признании личности — один из великих человеческих принципов европейской жизни. В Европе никогда не считали преступником живущего за границей и изменником переселяющегося в Америку.

У нас нет ничего подобного... Избалованность власти, не встречавшей никакого противодействия, доходила несколько раз до необузданности, не имеющей ничего себе подобного... ни в какой истории».

Коль уж Герцену было столь стыдно за то правительство («оно считает себя призванным служить примером для всех притеснителей»), то каково нам, знающим о судьбах не только

Блока и Гумилева? Или — еще более страшный вопрос: какими же тогда нам надо быть, чтобы признать за властью право на произвол?!

Гумилева расстреляли с ужасающей поспешностью, без суда. Блок умер не только от болезни сердца, но и от тоскливой медлительности властей. Как потом напишет Ходасевич: «Не странно ли: Блок умирал несколько месяцев, на глазах у всех... Перед смертью он сильно страдал. Но от чего же он все-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то „вообще“, оттого, что был болен весь, оттого, что не мог больше жить. Он умер от смерти».

Оттого, что не мог больше жить...

Как-то А. Ахматова, в присутствии П. Лукницкого подчеркнув гумилевскую строку «Только оттуда бьющий свет...», сказала, что то же самое есть у Блока, и добавила: «Это смерть».

После августа двадцать первого года общего у двух поэтов оказалось больше, чем при жизни.

И умру я не в постели
При нотариусе и враче,—

предсказал Гумилев свою участь, но никто даже представить не мог, до какой степени вульгарней и циничней все произойдет...

Тело покойного Блока писатели и актеры засыпали цветами, а гроб несли на руках до самого Смоленского кладбища; и отпели его в церкви Воскресения; и похоронили в день Смоленской иконы Божьей Матери; на панихиде пел хор Филармонии; и долго еще находили родственники на его могиле цветы и чьи-то, обращенные к Блоку, стихи...

Начиналась другая жизнь — жизнь после смерти — Блока и Гумилева, над которой люди уже не были властны. Жизнь в поучение потомкам.

Их гибель не закрыла тему «Поэт и Революция».

Чтить память жертв и безвременно ушедших — значит, говорить и о том, почему произошло прерывание жизни, а не только петь аморфные дифирамбы. Сейчас ведь тоже идет «революция». И важно понять деяния *той*, чтобы они не повторились и в *этой*, — не обязательно как с Гумилевым, но и — как с Блоком.

Поэты свершили предназначенное судьбой — оставили нам свои книги. Читая их, нам надо не забывать и о сумашедшем черном тоннеле точки в конце жизни одного, и о рваном свинцовом многоточии в судьбе другого. И о том, что

нельзя убирать с планеты ее полюсы. Даже если эта планета, по меркам тотальной революции, «всего лишь» Поэзия. Ибо поэт в России — больше чем поэт...

Однако до этой трагической развязки, навсегда примирившей оппонентов, оставался еще целый год. Или — всего год, за который тем не менее было сделано очень много. Один лишь перечень отредактированных в 1920-м году Гумилевым переводов занимает две страницы убористого текста; а кроме этого, написаны замечательнейшие стихотворения, составившие затем лучшую его книгу — «Огненный столп»: «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство», «Звездный ужас» и другие; начата «Теория поэзии» — фундаментальный труд, так и не заверченный. Осталось несколько рукописных сборников (каждый в единственном экземпляре, с рисунками автора) и пять экземпляров рукописного журнала «Новый Гиперборей», которые делались специально на продажу в магазине издательства «Петрополис»: денег катастрофически не хватало.

Эти рукописные «издания» ярче высвечивают мысль Блока об «испепеляющих годах», особенно если знать, кто тратил драгоценное время на их изготовление вручную: М. Цветаева, О. Мандельштам, М. Кузмин, В. Ходасевич, Ф. Сологуб, М. Лозинский... Как жестоко подходит ко всей этой странно-страшной бытовой фантазмагии гумилевское, как всегда, несколько отстраненное:

Я, верно, болен — на сердце туман.
Мне скучно всё — и люди, и рассказы.
Мне снятся королевские алмазы
И весь в крови широкий ятаган.
Мой предок был татарин косоглазый
Или свирепый гунн. Я веяньем заразы,
Через века дошедшей, обуян.
Я жду, томлюсь, и отступают стены...
Вот океан весь в клочьях белой пены,
Закатным солнцем залитый гранит
И город с голубыми куполами,
С цветущими жасминными садами...
Мы дрались там... Ах да, я был убит.

Не случайно и появление среди глубокой философской и интимной лирики такого вот *пáнтума* (коллективного стихотворения, когда одну линию ведет преподаватель, другую — слушатели), созданного в феврале на одном из семинаров:

Какая смертная тоска —
Нам приходиться и ждать напрасно.
А если я попал в Чека?
Вы знаете, что я не красный!
Нам приходиться и ждать напрасно,
Пожалуй, силы больше нет.
Вы знаете, что я не красный,
Но и не белый, — я поэт!
Пожалуй, силы больше нет
Читать стихи, писать доклады.
Но и не белый, я — поэт.
Мы все политике не рады...

Весь пánтум вдвое длиннее, но и процитированная часть достаточно красноречива. Чикающие звуки ЧК уже вошли в жизнь.

Но Гумилеву до ЧК было меньше дела, чем ЧК до Гумилева. Он проводит свой авторский вечер в Доме искусств, где читает пьесу «Дитя Аллаха» и стихи, вспоминает об Африке; затем проводит три творческих вечера Союза поэтов, выступает на юбилее М. Кузмина в Бежецке (тамошнее отделение Союза поэтов избирает его почетным председателем), затем в Доме литераторов, где читает доклад «Современность в поэзии Пушкина»...

В это же время создается «Поэма начала», которую сразу высоко оценили Э. Голлербах в «Известиях» и М. Слонимский в «Жизни искусства». «Поэма начала» — о свете и трагедии жизни, о ее бренности и вечности, о ее земной и космической ипостасях, о ее конечной неделимости. Жрец отдает свою жизнь, чтобы не угасло другое, более значительное существо — Дракон, которому, как некоей высшей силе, служил жрец. Эта поэма — своего рода симфония в творчестве Гумилева, одна из вершин.

Может быть, некоторые произведения и целые книги тоже имеют заранее предначертанные судьбы? Не будь летней поездки Гумилева в Севастополь, ему не довелось бы увидеть изданным свой сборник «Шатер»; впрочем, и самой поездки не было бы, если бы Осип Мандельштам не познакомил в конце мая Николая Степановича с флаг-секретарем наркома морских сил В. А. Павловым, который произвел на Гумилева приятное впечатление, так как писал стихи, жил в адмиральском вагоне и умел доставать спирт. Конечно же, скучавший по путешествиям Гумилев с благодарностью принял приглашение совершить совместную поездку к Чер-

ному морю — в поезде командующего, о чем можно было только мечтать.

Сборы не заняли много времени, и вскоре Гумилев и Павлов отправились в Москву, откуда в салон-вагоне контр-адмирала А. В. Немитца отбыли в Севастополь.

Севастопольский июль интересен в биографии Гумилева тем в первую очередь, что при участии адмирала едва ли не за несколько дней была напечатана книга африканских стихов, посвященная поэтом «памяти моего товарища в африканских странствиях Николая Леонидовича Сверчкова». Это было издание «Цеха поэтов», напечатанное на плохой бумаге (по свидетельству О. Мандельштама — в 50 экземплярах, «в одну ночь», что вряд ли возможно).

В «Шатре» хватило места всей Африке — здесь и «Красное море», и «Египет», «Сахара», «Судан», и «Абиссиния», «Мадагаскар», «Сомалийский полуостров», и «Замбези», «Дагомея», «Нигер»... Страницы книги буквально пылают экзотическими красками. А вернувшись из Севастополя, Гумилев в кратчайшие сроки переработал сборник, изменил композицию и передал рукопись ревельскому издательству «Библиофил», представитель которого находился тогда в Петрограде. Однако интересная — как иллюстрация к биографии поэта и владению им техникой стиха — книга, хотя и была высоко оценена, все же не стала вершинным явлением в его творчестве, тем более что выпущена она была между столь приметными изданиями, как «Костер» и «Огненный столп». Не случайно и сам Гумилев, сделав на пути из Севастополя в Петроград остановку в Москве, читал в «Кафе поэтов» не африканские стихи, а «Молитву мастеров».

Читая «Огненный столп», никто не вспомнит об акмеизме. Поэт оказался намного глубже и шире созданной им школы (кстати, к тому времени порядком утратившей свои позиции, — прав был Брюсов). Иной мир — таинства души, чувств и пророчеств (то, что поэт еще не так давно отрицал) — открывается в ней. В «Огненном столпе» нет подражаний никому, здесь есть только Гумилев. Как писал об этой книге Н. А. Оцуп, «колдовской ребенок вырос, и в нем окрепло влечение к таинственному. Посмотрите „Жемчуга“. Уже там мотивы, близкие Колриджу, — мотивы, вдохновляющие народы и племена, особенно кельтов, на создание легенд, — очень заметны. И так во всех книгах. В „Огненном столпе“ стихи на ту же тему — маленькие шедевры. Одно стихотворение лучше другого. Не те же ли в них лучи, которые убивают ребенка в „Лесном царе“ Гёте?»

Как в первом своем сборнике — «Пути конквистадоров» — Гумилев пытался найти маску, так в последнем — «Огненном столпе» — стремился он понять тайны мироздания и движения души, зачастую независимые от человеческого желания.

Одну из своих книг (есть предположение, что именно эту, «Огненный столп») Гумилев хотел назвать: «Посредине странствия земного». О выходе книги с таким названием даже сообщалось в газете «Жизнь искусства» — в те дни, когда Гумилев был уже арестован... Не назвал, опасаясь, что такое название сократит ему жизнь.

Но «Огненный столп» и вышел как раз посредине нормального по срокам земного странствия: автору — известному поэту и путешественнику, профессору, неумолимому организатору и руководителю — было 35 лет. Взлет. Расцвет. Вершина. И книга, посвященная второй жене, Анне Николаевне, подтверждала это. «Лучшей из всех книг Гумилева» назвал ее тогда же один из критиков.

Эту, лучшую свою книгу ему уже не суждено было увидеть напечатанной.

Отказавшись от книжности и красотостей, в «Огненном столпе» поэт простыми словами, которых чурался раньше, размышляет о жизни и смерти, о любви и ненависти, о добре и зле, поднимаясь до философских высот и оставаясь при этом предельно земным. Его мысли о душе, пронизывающие почти все стихотворения, — потребность осмысления именно земного пути.

Как и всякому большому поэту, Гумилеву был присущ дар предвидения. Быть может, это теперь, зная о его судьбе, мы находим в стихах и то, что поэт вкладывал в них, не преследуя конкретной цели — предсказать. Но это могло происходить и подспудно, вне его осознанного желания. И потому стихотворение «Память» — это попытка итога и в то же время — пророчество: вот таким я был, вот этим жил, к этому стремился, но — останется ли все это, тем ли оно было, чтобы остаться? И «Заблудившийся трамвай» — стремление вспомнить и осознать свой, земной пока еще, путь:

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь, вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет.

Как в «Душе и теле», так и здесь, в «Заблудившемся трамвае», — уже разъединяемое единство телесного и духовного. Ахматова называла «Душу и тело» любимым своим

стихотворением в этой книге. Еще не понимаема до конца необратимость процесса, но мысль не может смириться с тем, что все завершаемо, тленно, и потому бьется над продолжением себя, пусть и в иных формах.

Об этом же — земном и космическом, известном и непознанном — и стихотворение «Звездный ужас». Как в «Поэме начала» мы видим, что только земной, горячей жизнью возродится жизнь иная, а значит, то, что несет в себе человек, уникально, неповторимо, — так и в «Звездном ужасе» открывается единственность человеческого «я», которое заменить никто не в силах. Тема смерти и бессмертия выходит здесь на первый план — вечная, но для Гумилева новая в таком преломлении.

Произошла и переоценка отношения к творчеству. Это уже не повторение готовой формулы Теофиля Готье из «Искусства», это осознание, что «Солнце останавливали словом, Словом разрушали города». А потому и откровение, которое в полной мере можно понять, только помня предыдущие манифесты Гумилева, — таково:

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово — это Бог.

Грешно не то, что забыли, а то, что не вспомнили. В «Огненном столпе» идет как раз лавинонарастающий процесс таких «вспоминаний», которые зачастую напрочь отрицают былые признания, вознося автора над собою недавним. Отсюда, от этих открытий и этого нового понимания себя, — и своего рода завещание читателям, которые «возят мои книги в седельной сумке, читают их в пальмовой роще, забывают на тонущем корабле»; не завещание даже, а, скорее, снова попытка откровения — как перед Богом, как в последнем слове:

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выведенного яйца.
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться, и делать что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во Вселенной,

Скажет: «Я не люблю Вас»,—
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,—
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную Землю
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

Простые и мудрые слова, которыми написана эта своего рода биография, безусловно, явились закономерным следствием другого миропонимания, к которому все ближе и ближе подходил поэт. Нам не дано теперь узнать, какими результатами, творческими открытиями обернулась бы эта эволюция и эта, одновременно, драма в сознании Гумилева, ибо суть «Огненного столпа» свидетельствует о мышлении иного порядка, об иных подходах к задачам творчества и предназначению человека. Не случайно вместо прежней мысли о том, что стихи — ремесло, которым может овладеть любой, в «Шестом чувстве» появляется другое определение: «Что делать нам с бессмертными стихами?» И — другое отношение к творчеству, отказ от манифеста Готье:

Как некогда в разросшихся хвостах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья,—
Так век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

Н. Минский пишет в рецензии на эту книгу:

«В разбираемом сборнике Гумилев в нескольких стихотворениях завещает нам свою авто-психографию, изображая в них не отдельные поэтические моменты, а общую схему своей духовной жизни.

В стихотворении „Память“, которое открывает сборник, поэт рассказывает о четырех метаморфозах своей души, или, вернее, о последовательном пребывании в нем четырех различных душ, ибо люди, в отличие от змей, „меняют не тела, а души“.

Первая душа сделала из него „колдовского ребенка“, который останавливал словом дождь и в друзья избрал дерево и рыжую собаку.

Вторая душа превратила его в „поэта, который хотел стать богом и царем“. „Он совсем не нравится мне“, — чистосердечно сознается Гумилев.

Третья душа разбудила в нем мореплавателя и стрелка. А теперь в нем обитает четвертая душа.

Я променял веселую забаву
На священный долгожданный бой,
Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле.
Я возревновал о славе Отчей,
Как на Небесах, и на Земле.
Сердце будет пламенеть палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены нового Иерусалима
На полях моей родной земли.

Какая поразительная по искренности и глубине душевная исповедь! Сравнивая между собой эти четыре души, мы получаем не убегающую прямую, а гармонически законченный круг».

На выход этой книги откликнулись многие. Некто В. И. в журнале «Сибирские огни» писал, рецензируя «Огненный столп»: «Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России останется глубокой трагедией». Доброе слово о последнем сборнике поэта сказали К. Мочульский, Г. Иванов, Э. Голлербах и другие.

Посредине странствия земного принято ставить вопросы. Поэт поставил их — своим творчеством, своей судьбой: жизнью и смертью. Мы же, оставляя за собою обязанность отвечать, можем лишь повторить вслед за другой трагической личностью (да и много ли в России поэтов, чья жизнь не была трагичной и кто дожил до старости?) — Мариной Цветаевой: «Чувство Истории — только Чувство Судьбы».

Не „мэтр“ был Гумилев, а Мастер: боговдохновенный и в этих стихах уже *безымянный* мастер, скошенный в самое утро своего мастерства-ученичества, до которого в „Костре“ и окружающем костре России — так чудесно-древесно! — дорос.

Надвигался последний месяц лета 1921 года. Как будто специально о нем сказал Гумилев еще в «Чужом небе»:

...Наше бремя, тяжелое бремя:
Труд зловещий дала нам судьба,
Чтоб прославить на краткое время,
Нет, не нас, только наши гроба.

О нем, о 1921-м годе, и — о себе.

Глава девятая

ЖЕРТВА И «СУДЬИ»

Несчастливая гуманитарная интеллигенция! Не тебя ли, главную гидру, уничтожали с самого 1918 года — рубили, косили, травили, морили, выжигали? Уж, кажется, начисто! Уж какими глазами шарили, уж какими мётлами поспевали! — а ты опять жива? А ты опять тронулась в свой незащищенный, бескорыстный, отчаянный рост! ..

А. Солженицын



Когда хоронили умершего 7 августа 1921 года Александра Блока, в толпе разнесся слух, что несколько дней назад, 3 августа, арестован другой большой поэт, без имени которого было уже невозможно представить литературную жизнь Петрограда, — Николай Гумилев.

За что? Все терялись в догадках, ибо «должностное преступление» исключалось, а что касается политических убеждений, то, как мы помним, даже в официальных анкетах в этой графе Николай Степанович писал: «Аполитичен».

Решено было идти к председателю Петроградской ЧК от имени Академии наук, издательства «Всемирная литература», еще ряда организаций, в которых сотрудничал или преподавал Гумилев, включая «благонадежный» Пролеткульт, — с прось-

бой выпустить поэта на поруки. Пошли Н. Оцуп, Н. Волковысский, А. Воынский, С. Ольденбург.

О том, что об «опасном заговорщике» в ЧК не знали ровным счетом ничего, свидетельствует хотя бы то, что депутацию спросили: «Да чем он, собственно, занимается, ваш Гумилев?.. Значит, писатель... Не слыхал»; «Что это за Гумилевский? И зачем он вам понадобился? И вообще, к чему нам поэты, когда у нас свои есть...»

Пролетарские поэты, которых Гумилев учил искусству рифмы, узнав об аресте учителя, отреклись от него. (Вернее, им приказано было не вмешиваться, но разница-то не очень велика. Кстати, когда через три года был арестован талантливый поэт Алексей Ганин, на просьбу о помощи Демьян Бедный ответил: «Сам попал, сам пусть и выкручивается». Ганин был расстрелян чекистами.)

Гумилев мечтал о том, что будут еще «смелые, сильные люди, которые не корчатся, как черви, под железную пятою этого торжествующего хама. И вольная песня, и радость жизни. И ведь будет же, будет Россия свободная, могучая, счастливая — только мы не увидим». В 1921 году он признавался: «Я удивляюсь тем, кто составляет сейчас заговоры... Слепцы, они играют на руку провокации. Я не трус. Борьба — моя стихия, но на работу в тайных организациях я теперь бы не пошел».

Могло ли прийти в голову ему, благородному человеку, что заговоры могут составлять не только против власти, но и сами власть имущие; названия разве что другие: «акция», «классовая борьба» и т. д. А благодушная, доверчивая интеллигенция, видевшая тогда в аресте лишь «глупую ошибку, недоразумение», жестоко поплатилась за свою доверчивость. Николаю Оцупу, позвонившему в ЧК по телефону, чтобы узнать о результатах писем и хождений, ответили: «Ага, это по поводу Гумилева, — завтра узнаете». А назавтра все узнали о расстреле.

Гильотина красного террора действовала безостановочно.

В чем виноват (не *обвинялся* — это совсем другое, а именно — *был виноват*) Николай Гумилев? Об этом сказал еще Крылов: лишь в том, что волку хотелось есть. Ибо в «деле», в картонной папке (том № 177), нет ничего, что предусматривало бы не только расстрел, но и какое-либо наказание. Все 104 страницы свидетельствуют лишь о том, что «дело» было на скорую руку, поспешно и небрежно сфабриковано.

Зачем? На этот вопрос еще предстоит ответить. Версий немало, но истинная причина пока остается сокрытой, потому

что, зная о «гумилевском» томе № 177 (исследователи В. и С. Лукницкие сумели опубликовать его), мы тем не менее лишены пока возможности судить обо всем этом «деле» под № 214224, насчитывающем 382 тома.

Вдумаемся: еще только 1921 год, а уже более двухсот тысяч дел, и за каждым — не одна, а десятки, если не сотни жизней. Почему так?

Потому, что в ноябре 1918 года председатель ВЧК Петерс заявил: «Всякая попытка русской буржуазии еще раз поднять голову встретит такой отпор и такую расправу, перед которыми побледнеет все, что понимается под красным террором». Потому, что в 1919 году чекистские газеты писали: «Нам все разрешено»; «Для нас нет и не может быть старых устоев морали и „гуманности“»; «Нам твердят, что уничтожением этих элементов (профессоров, военспецов и т. д.— И. П.) мы идем по пути регресса. Пусть так, пусть мы на время отступаем...»; «Да здравствует красный террор!»; «Жертвы, которых мы требуем, жертвы спасительные» и т. д. и т. п.

Вчитаемся: «Нам все разрешено» и «Жертвы, которых мы требуем». Вот истинная причина, и других нет. Все остальное — лишь поводы. Когда идол «требуется жертв» — не до оформления приговоров; тем более что «все разрешено».

И тогда ясно, почему на обложке «дела» написано: «ГумЕлев»; почему указан неверный возраст, почему в материалах «дела» он называется то Сергеевичем, то Станиславовичем.

Поражает то, что основная часть «дела» — случайные квитанции, деловые письма, членские билеты, наброски будущих книг, пригласительные билеты, пометки о доходах, расходах и долгах, т. е. бумаги, которых и тогда и сейчас у любого человека (тем более у литератора) полным-полно. Есть в «деле» и незаполненные, но зато с печатями и подписями, бланки Петроградской ЧК и еще несколько документов, на которых стоит остановиться.

Первое: слова Гумилева при допросе его следователем Яковсоном о том, что ленту для пишущей машинки он не взял, «а деньги 200 000 взял на всякий случай и держал их в столе...»

Второе: из допроса от 23 августа 1921 года: «Допрошенный следователем Яковсоном, я показываю следующее: никаких фамилий, могущих принести какую-нибудь пользу организации Таганцева путем установления между ними связей, я не знаю и потому назвать не могу. Чувствую себя виноватым

по отношению к существующей в России власти в том, что в дни Кронштадтского восстания был готов принять участие в восстании, если бы оно перекинулось в Петроград...» Добавим, что это машинописный текст, самим Гумилевым не подписанный.

Третье: выписка из заключения, сделанного Якобсоном (об образованности следователя, который, по словам И. В. Одоевцевой, якобы даже читал на память стихи Гумилева, что не мешало ему не знать отчества подследственного, пусть судит читатель):

«Последний (то есть Гумилев.— *И. П.*) взял на себя оказать активное содействие в борьбе с большевиками и составлении прокламаций контрреволюционного характера. На расходы Гумилеву было выдано 200 000 рублей советскими деньгами и лента для пишущей машинки...

Признает своим показанием гр. Гумилев подтверждает получение денег от организации в сумме 200 000 рублей для технических надобностей...

Виновность в контрреволюционной организации гр. Гумилева Н. Ст. на основании протокола Таганцева и его подтверждения вполне доказана.

На основании вышеизложенного считаю необходимым применить по отношению к гр. Гумилеву Николаю Станиславовичу как явному врагу народа и рабоче-крестьянской революции высшую меру наказания — расстрел.

Следователь Якобсон [подпись].

Оперуполномоченный ВЧК [подписи нет].

И, наконец, четвертое: выписка из протокола заседания «Президиума Петрогуб. Ч. К.» от 24. 08. 1921 г.:

«Гумилев Николай Степанович, 35 лет, б[ывший] дворянин, филолог, член коллегии издательства „Всемирная литература“, женат, беспартийный, б[ывший] офицер, участник Петроградской боевой контрреволюционной организации, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров, которые активно примут участие в восстании, получил от организации деньги на технические надобности».

Приписка гласит: «Приговорить к высшей мере наказания — расстрелу».

Получается: не был, не состоял, не участвовал, но — виноват и потому поставлен к стенке.

Эта алогичность шокировала тогда. И по сей день она (ведь не укладывается в голове, что *просто так!*) побуждает

многих искать хоть какую-то, но вину. Может быть, вина в том, что *писатель* получил ленту для пишущей машинки? Или хотя бы в том, что *обещал* связать кого-то с кем-то (то есть опять же нет *действия*)? Или в том, что получил 200 000 рублей (к моменту ареста их осталось 16 000)?

Так чтобы не было заблуждений, поясним: в августе 1921 года один довоенный царский рубль равнялся 20 000 советских; пуд картошки стоил тогда более 100 000 рублей, пуд муки — 400 000, а одна почтовая марка — 5 000 рублей.

«Дело» в отношении Гумилева вел лишь один человек — Якобсон; он же, следовательно, игнорируя рамки дозволенного, требовал расстрела; не говоря уже о том, что даже ради приличия, ради подобия правды концы в этом «деле» так и не сходятся с концами.

Или все тома этого общего «дела» № 214224 таковы, как и частный его том № 177? Тогда естественно утверждать, что «таганцевского» заговора не было. Во всяком случае, на сегодняшний день еще никто публично и внятно не доказал, что он существовал. А если он все же имел место, тогда зачем до сих пор хранить в тайне *всё* «дело» № 214224? Не затем ли, что, открой его — и еще раз подтвердится опубликованный еще в 1918 году тезис: «Нам все разрешено»?

Бродит несколько версий о том, почему в числе прочих ЧК заинтересовалась и Гумилевым. Не давая им оценок, все же стоит перечислить некоторые, коль уж они существуют.

Во-первых, монархизм Гумилева, который никогда этого не скрывал ни перед какой аудиторией. Во-вторых, его офицерское прошлое. В-третьих, личная неприязнь к поэту Г. Зиновьева, который якобы принял на свой счет одно из гумилевских произведений. В-четвертых, участие в этом деле Ф. Раскольников, мужа Л. Рейснер, которая до замужества была в близких дружеских отношениях с Гумилевым. В-пятых...

Впрочем, продолжать можно было бы долго, ибо за семьдесят лет догадок и домыслов появилось немало, но, как видим, ни одна из этих версий не имеет отношения к заговору.

Существует и еще одна, которую тоже не стоит пока — на уровне, естественно, лишь гипотезы — отвергать. А именно: массовый расстрел совпал с третьей годовщиной со дня убийства шефа Чрезвычайной Комиссии Моисея Соломоновича Урицкого.

Если В. Ф. Ходасевич считал, что Гумилева «убили ради наслаждения убийством вообще, еще — ради удовольствия убить поэта, еще — „для остротки“, в порядке чисто-

го террора, так сказать», то корреспондент газеты «Руль», в целом поддерживая эту мысль, был настроен более решительно:

«У нас ведь стерлась всякая разница между возможным и невозможным, а поэтому Гумилев, Лазаревский, Таганцев и Тихвинский были пущены „в расход“, как цинично у нас это называется, *только для того, чтобы напугать москвичей.*

Видели, дескать, чем пахнет? Теперь это ни для кого уже не секрет, ибо ЧК так просто и говорит: „Виноваты или нет — не важно, а урок сей запомните“.

Так было сказано в полупубличном месте самим т. Менжинским».

А в комментариях к мемуарам Н. Опуца Вадим Крейд делится таким наблюдением:

«Газеты с сообщениями о расстреле Гумилева вышли 1 сентября 1921 г. „Красная газета“ от 1 сентября поместила отчет о собрании совета Петроградской губернии, заседавшего 31 августа. Председатель Губчека Семенов сделал доклад о ликвидации „заговоров“. „Совет открылся в переполненном зале,— сообщается в „Красной газете“.— Пожалуй, со времени кронштадтских событий не наблюдалось вчерашней картины: все проходы, ступеньки лестниц, хоры заполнены членами Петросовета и представителями организации. Открывает собрание Евдокимов, предлагающий почтить вставанием третью годовщину смерти Урицкого. Затем начинается доклад Семенова... «Вы понимаете,— обращается Семенов к Петросовету,— чем грозило это нам и всей России, когда... белогвардейцы мечтали... воздвигнуть старое здание монархии. Здесь и поэт Гумилев, вербовавший кадровых офицеров...»

В тот же день петроградская газета „Правда“ (имеется в виду „Петроградская правда“.— И. П.) напечатала официальное сообщение ВЧК об убийстве в чекистских застенках 61 человека. Все они были расстреляны без суда, включая Гумилева».

О личности Урицкого и об убийстве его эсэром Леонидом Каннегисером прекрасно сказано в работе Марка Алданова «Убийство Урицкого»; в ней не только дана характеристика «комического персонажа», о котором даже Московское охранное отделение писало, что он «не производит впечатления серьезного человека», но даны и сведения о том, что «после убийства Урицкого в Петроградской коммуне, находившейся в ведении Г. Зиновьева, было в одну ночь расстреляно пятьсот ни в чем не повинных людей», и мнение «одного из виднейших большевиков», что «настоящий убийца Уриц-

кого — Зиновьев. Он предписывал все то, за что был убит Урицкий».

Кстати, по «делу Таганцева» расстреляли 61 человека, а томов в «деле» — 382; но, естественно, не зная об этой цифре, парижская газета «Последние новости» в номере от 20 сентября опубликовала четырехстрочную, никем не поддержанную, но и никем не опровергнутую информацию: «Гельсингфорские газеты сообщают, что по делу о так называемом заговоре Таганцева в действительности расстрелян не 61 человек, а 350».

Тысячи горожан боялись ночевать дома из-за массовых обысков и арестов, зарубежные издания сплошь состояли из некрологов; через год, в августе-сентябре двадцать второго, вышлют на Запад 161 «внутреннего эмигранта»... И все это — за целых пятнадцать лет до «черного» тридцать седьмого.

Потому что — «нам все разрешено». Или, как писал об этих годах Питирим Сорокин, «жизнь человека потеряла ценность. Моральное сознание отупело. Ничто больше не удерживало от преступлений... Преступления стали „предрассудками“, а нормы права и нравственности — „идеологией буржуазии“. „Все позволено“, лишь бы было удобно, — вот принцип смердяковщины, который стал управлять поведением многих и многих... Отсюда — зверства гражданской войны, отсюда террор чека, пытки, расстрелы, изнасилования, подлог, обман и т. д., которые залили кровью и ужасом Россию за эти годы».

Наши предельно отечественные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» сейчас витают над страной не в меньшей степени, чем раньше. Касаются они и судьбы Николая Степановича Гумилева, с имени которого наконец-то, спустя семьдесят лет после расстрела, снято «обвинение», да и то после многолетних требований общественности.

Многие, особенно зарубежные, мемуаристы пишут, что интерес к личности Гумилева обусловлен прежде всего тем, что он стал жертвой «Совдепии». Да, стал. Но, думается, здесь не надо умышленно подменять одно другим, — это не на пользу ни справедливости, ни истине, ни поэзии, ни Гумилеву, который был и остается большим русским поэтом. И нам не безразлична судьба русского поэта именно потому, что он — яркое явление, не только преждевременно погубленное, но и насильственно выведенное на десятилетия из культурного обихода: даже книги его были изъяты из библиотек.

«Это ошибка. Зря его расстреляли. Он ни одного слова не напечатал против Советской власти», — скажет потом Николай Тихонов. И это соответствует истине.

Важно по возможности установить, кто же был инициатором расправы. Высказываются мнения, что это мог быть и Зиновьев, и Федор Раскольников, ставший мужем Ларисы Рейснер... Восстановить истину важно, ибо вслед за нею можно восстановить и справедливость.

Задолго до нынешних дней Ахматова выяснила, «что, собственно, никакого „таганцевского заговора” не было. Что Гумилев ни в чем не виноват, не виноват и сам Таганцев ни в чем. Никакого заговора он не организовывал. Он был профессор истории в университете в Ленинграде... А было следующее: действительно была группа — пять моряков, которые что-то замыслили и, чтобы отвести от себя подозрения, составили списки якобы заговорческой группы во главе с профессором Таганцевым. Включили в эти списки много видных лиц с именами, в том числе и Гумилева, отведя каждому свою определенную роль».

Даже профессиональные юристы давно уже признали, что Николай Степанович Гумилев ни в чем не виновен. И отнюдь не сейчас, а самое малое в 1968 году, когда первый заместитель Генерального прокурора СССР сказал Павлу Николаевичу Лукницкому, собиравшему материалы о Гумилеве: «Мы убедились в том, что Гумилев влип в эту историю случайно... А поэт он — прекрасный... Его „дело” даже не проходит по делу Таганцевской Петроградской „босвой организации”, а просто приложено к этому делу... Если б это произошло в наши дни, то вообще никакого наказания Николай Гумилев не получил бы...»

Интересная, конечно, постановка вопроса: во-первых, остается туманное «если б *это* произошло» (что — *это?*), а во-вторых, «дело» Гумилева не «просто приложено» — на папке 177-го тома значится: «Соучастники (ГумЕлев Н. С.)».

Но главное даже не в этом. Признавая невиновность Гумилева (не так давно и бывший старший помощник Генерального прокурора СССР Г. А. Терехов признал, что «по закону и исходя из требований презумпции невиновности Гумилев не может признаваться виновным в преступлении, которое не было подтверждено материалами того уголовного дела, по которому он был осуждён»), никто из этих компетентных и имеющих полномочия людей не восстановил реально справедливость. Тем более что, вдумавшись в слова: «...не может признаваться виновным в преступлении, которое не было

подтверждено материалами того уголовного дела, по которому он был осужден», понимаешь: речь идет именно обо всем деле, а не об одном лишь гумилевском томе.

Да и о каком суде («осужден») речь? Не было ведь его, суда. Был лишь росчерк следователя Якобсона, повторенный затем «Президиумом Петрогуб. Ч. К.».

Теоретически «суд» и «беззаконие» — понятия несовместимые. Но красному террору, как теперь ясно, закон не писан.

Это «дело» высветило и еще одно явление, которое по праву можно назвать «синдромом Демьяна Бедного»: когда даже *прокуроры* признают невиновность Гумилева, некоторые *писатели* упорно продолжают сомневаться.

Вряд ли можно согласиться с В. В. Карповым, написавшим: «Не берусь судить о степени виновности Гумилева, но и невиновности его суд не установил».

Помилуйте, какой суд? Когда он был? Где? Кто в нем заседал?

Или В. В. Карпов решил поддержать К. М. Симонова, в свое время с пафосом утверждавшего: «Некоторые литераторы предлагали чуть ли не реабилитировать Гумилева через органы советской юстиции, признать его, задним числом, невиновным в том, что его расстреляли в двадцать первом году. Я лично этой позиции не понимаю и не разделяю. Гумилев участвовал в одном из контрреволюционных заговоров в Петрограде — это факт установленный... Примем этот факт как данность».

Что же такое, по Симонову, «данность», если как раз факта-то и нет и никто его не устанавливал? Ведь оттого, что какая-нибудь комиссия своим постановлением отменит закон Ньютона, земное притяжение не перестанет существовать и «контрреволюционные» яблоки по-прежнему будут падать на землю, а не лететь в небо, подлаживаясь под решения следователя и всей комиссии. Истина не умеет подлаживаться. Это людям кажется, что они могут ее пере-красить, а она рано или поздно все равно принимает свой, *истинный* цвет.

Но как все-таки важно: раньше это произойдет или позже! Ведь за ложь во зло, за угодничество и равнодушие к судьбе собрата иногда приходится расплачиваться и детям, и жестоко расплачиваться — жизнью. Фемида есть Фемида: глаза ее завязаны, а весы должны находиться в равновесии, уравнивая содеянное кровью и кровью же возданное.

Анна Ахматова вычислила место близ Бернгардовки под Петроградом, где, по ее предположению, был расстрелян Николай Гумилев, но нет могилы, на которую можно было бы

возложить цветы. Могилой стала вся русская земля. Говоря о «деле» Гумилева, не только о «тайне» этого ложного «дела» надо говорить, но и о трагедии народа.

Тридцать пять лет прожил поэт. Сейчас наступила вторая его жизнь — его возвращение к читателю.

Да, без Гумилева отечественная литература — не только поэзия, но и критика, и проза — не полна. Эта брешь сейчас восполняется. Но на этом не может и не должен завершиться разговор о поэте, чье творчество не только имело большое значение в Серебряном Веке русской поэзии, но и оказало серьезное влияние на дальнейшее развитие литературы.

И сейчас он для нас — посредине странствия. И своего, и нашего. Странствия не только по стране Поэзии, но и по Вселенной томящегося, страждущего, счастливого и трагического духа.

ОТ АВТОРА



Книги не заканчиваются вместе с последним словом. Может быть, именно после точки они как раз и начинаются, находя свое продолжение в мыслях читателя, вызывая желание обратиться к новым источникам. Да и эта книга могла бы, вероятно, быть более обширной: далеко не все произведения поэта в ней хотя бы упомянуты, далеко не обо всех встречах поведано. Но это и невозможно. Даже Павел Лукницкий, всю жизнь посвятивший собиранию сведений о Николае Гумилеве, не всё осветил в своих трудах. Цель моей книги — дать представление о биографии писателя, о его творчестве. А тем, кто пожелает детально изучить творческий путь поэта, можно порекомендовать обратить внимание на работы таких авторов, как П. Лукницкий, А. Павловский, М. Эльзон, М. Латманизов, Р. Тименчик, Г. Фридлендер, Н. Богомоллов, Д. Золотницкий... И, конечно же, не проходить мимо воспоминаний десятков современников поэта, близко знавших его и посвятивших ему немало интереснейших стра-

ниц. Конечно, для этого придется перечитать не один десяток книг — романов, дневников, писем, статей, мемуаров, но это полезная, много дающая душе работа.

В наше трудное, нервное время человек может выжить только в пространстве любви. Отрадно, если для кого-то из читателей это будет и любовь к поэзии.

История человечества — это путешествие сквозь мифы, как созданные давным-давно, так и рождающиеся сейчас, на наших глазах. Пространство мифа необъятно: Троя мала, но Гомер провел через этот маленький участок земли миллионы читателей, расширив границы крепости до всеземного масштаба и продлив годы мифического сражения на тысячелетия.

Николай Гумилев — уже тоже миф, в большом и добром значении этого слова. Не «сказка», а — явление, которое со временем разрастается и наполняет наше духовное бытие. О нем будут писать еще многие, ибо общение с творчеством мастера и многому учит, и облагораживает. Но сколько бы ни говорилось о Гумилеве (как, впрочем, и о любом творце, истинном художнике), главным остается его собственное дело — его книги. Они тоже не заканчиваются на последней точке, а только начинаются, если душа не ленива, если она способна трудиться, чувствовать боль, любить и счастливо радоваться открытиям.

Откройте книги Николая Гумилева, вчитайтесь в них — и вам воздастся. Ибо это — из тех богатств, которые всегда с нами, в нас и которые остаются даже тогда, когда потеряно все, кроме самой жизни.

Николай Гумилев. *Краткая хроника*

1886

3(15) апреля в семье корабельного врача Степана Яковлевича Гумилева, в Кронштадте, родился сын Николай. Крестил младенца протоиерей Владимир Краснопольский. Вскоре после рождения сына С. Я. Гумилев отвозит семью в Слепнево.

1887

9 февраля С. Я. Гумилев уволен по болезни с мундиром и пенсионом и произведен в статские советники. Семья переезжает на жительство в Царское Село.

1890

Гумилевы покупают имение в Поповке близ Петербурга, где затем Николай несколько лет подряд проводит лето.

1895

Н. Гумилев держит экзамен в приготовительный класс Царскосельской гимназии, но по состоянию здоровья продолжает обучение дома, с учителем Б. И. Газаловым. В этом же году семья переезжает в столицу.

1896

Рано, на шестом году, научившийся читать, Н. Гумилев много времени проводит за книгами, готовится к поступлению в гимназию Гуревича, начинает сочинять первые стихи.

1897

Семья едет в Железноводск из-за ухудшения здоровья отца. Осенью Н. Гумилев продолжает обучение в гимназии Гуревича.

1899

Гумилев помещает в выпускаемом в гимназии журнале свой рассказ. В мае слушает речь И. Ф. Анненского о Пушкине. Проводит последнее лето в Поповке.

1900

Для укрепления здоровья детей (у старшего брата Н. Гумилева обнаружился туберкулез) семья переезжает на Кавказ, в Тифлис. Осенью Гумилев поступает в четвертый класс 2-й Тифлисской гимназии.

1901

5 января родители переводят Николая в одну из лучших в России, 1-ю Тифлисскую гимназию. Летом семья едет в имение Березки, купленное в Рязанской губернии.

1902

Николай переведен в шестой класс. 8 сентября в газете «Тифлисский листок» опубликовано его первое стихотворение «Я в лес бежал из городов...»

1903

Возвращение в Царское Село. Николай поступает в 7-й класс Николаевской Царскосельской гимназии, директором которой был И. Ф. Анненский. 24 декабря состоялось знакомство с гимназисткой Анной Горенко — будущей женой Гумилева, поэтессой Анной Ахматовой.

1904

28 марта А. Горенко впервые была в доме Гумилевых. Летом семья уезжает в Березки. Гумилев читает стихи на «воскресеньях» у Коковцовых.

1905

В октябре вышел в свет первый сборник стихов Н. Гумилева «Путь конквистадоров», тираж 300 экз. В ноябрьском номере «Весов» напечатана рецензия В. Брюсова на эту книгу. Знакомство с И. Ф. Анненским.

1906

В. Брюсов предлагает Гумилеву сотрудничать в журнале «Весы». 30 мая завершено обучение в гимназии, получен аттестат зрелости. В июле Гумилев уезжает в Париж.

1907

В январе Гумилев начинает издавать в Париже литературный журнал «Сириус». В мае возвращается в Царское Село, затем едет в Москву к В. Брюсову. Летом посещает А. Горенко в Крыму и получает отказ. Отправляется в Константинополь и Африку. В августе возвращается в Париж, где знакомится с будущей Черубиной де Габриак (Е. И. Димитриевой). В октябре едет в Россию, в ноябре — снова в Париже, пишет прозу.

В январе выходит в свет сборник «Романтические цветы» тиражом 300 экз. В «Весах» В. Брюсов положительно отзывается о книге, а в № 4 журнала публикуется рассказ Гумилева «Радости земной любви». В апреле уезжает из Парижа к родителям. 24 мая избран в кружок «Вечера Случевского». 29 мая публикует статью «Брюсов». 18 августа зачислен студентом юридического факультета Петербургского университета. Сентябрь — октябрь: путешествие: Одесса — Афины — Александрия — Каир — Александрия. Ноябрь — первое посещение «башни» Вяч. Иванова.

1 января — знакомство с С. К. Маковским. Апрель — основывает с А. Н. Толстым журнал «Остров». 25 мая с Е. И. Димитриевой едет в Коктебель к Волошину. Июнь — принимает участие в создании «Академии стиха». В июле отдыхает в имении Кузьминых-Караваевых Борисково. С 1 сентября слушает лекции на историко-филологическом отделении университета. 22 ноября состоялась дуэль Гумилева с Волошиным. 26 ноября А. Горенко отвечает согласием на предложение Гумилева стать его женой. 30 ноября выехал в Африку.

5 февраля возвращается из Африки в Царское Село. 6 февраля умирает отец. 16 апреля выходит третий сборник стихов, «Жемчуга». 25 апреля — венчание с А. А. Горенко. 2 мая молодожены отправляются в свадебное путешествие в Париж. 23 сентября — очередное африканское путешествие.

25 марта возвращается из Африки в Петербург. 5 апреля делает доклад о путешествии в редакции «Аполлона». 4 мая подает прошение об увольнении с юридического факультета. 7 августа в Москве знакомится с А. Белым. Вместе с С. Городецким создает «Цех поэтов» и возвещает о появлении нового течения — акмизма. 20 октября — первое собрание «Цеха поэтов».

Выходит сборник стихов «Чужое небо». Гумилев принимает предложение С. Маковского заведовать литературным отделом «Аполлона». Поездка в Италию вместе с А. Ахматовой. 18 сентября родился сын Лев. С октября начинает выходить журнал «Гиперборей». 19 декабря наметился разлад с С. Городецким.

1913

В № 1 «Аполлона» опубликована статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 15 февраля — выступление акмеистов в Литературном обществе. В марте столичный театр миниатюр ставит пьесу Гумилева «Дон Жуан в Египте». 10 апреля с племянником Н. Сверчковым Гумилев отправляется в Африку. 20 сентября — возвращение в Петербург.

1914

6 января — знакомство с Т. Адамович. В феврале — раскол «Цеха поэтов». 1 марта выходит сборник «Эмали и камней» Т. Готье, переведенный Гумилевым. 16 апреля — разрыв отношений с Городецким. 24 августа Гумилев стал добровольцем Лейб-гвардии уланского полка.

1915

13 января награжден Георгиевским крестом 4-й степени, переименован в сфрейтора, а 15 января произведен в унтер-офицеры. С 3 февраля 1915 по 11 января 1916 года в «Биржевых ведомостях» печатаются «Записки кавалериста» Н. Гумилева. 15 декабря выходит книга стихов «Колчан». Награжден Георгиевским крестом 3-й степени.

1916

28 марта произведен в прапорщики с переводом в Гусарский Александрийский полк. 5 мая из-за ухудшения здоровья Гумилев направлен на излечение в Царское Село. 14 мая знакомится со своей будущей второй женой, А. Н. Энгельгардт. 2 июня едет в Крым для поправки здоровья. 25 июля возвращается в полк. 17 августа командирован в столицу для держания офицерского экзамена. 25 октября, не сдав экзамена, отбывает на фронт.

1917

15 мая покидает Петроград с целью попасть в действующую армию на Салоникский фронт. 20 мая прибыл в Стокгольм, оттуда морем — в Лондон. 1 июля прибыл в Париж, в распоряжение представителя Временного правительства. Увлечен восточной поэзией, переводит китайских поэтов.

1918

2 января командирован в Англию для направления на Месопотамский фронт. 21 января добывается разрешения на въезд в Россию. 4 апреля через Скандинавию возвращается в Петроград. Входит в состав редколлегии издательства «Всемирная литература», много публикуется сам, переиздает «Жемчуга», «Романтические цветы». 28 июня выходит книга

«Мик», 11 июля — «Костер», 13 июля — «Фарфоровый павильон». 5 августа — развод с А. А. Ахматовой.

1919

Женитьба вторым браком на А. Н. Энгельгардт. Преподавание в нескольких институтах и литературных студиях. 14 апреля родилась дочь Елена. Входит в Совет студии «Дом искусств», проводит литературные вечера в «Союзе поэтов».

1920

Участвует в создании Петроградского отдела Всероссийского Союза писателей, избирается членом приемной комиссии. 5 апреля — творческий вечер Гумилева. В июне — отдых в «Первом доме Отдыха». 6 июля в Ростове-на-Дону состоялась премьера пьесы Гумилева «Гондла». 2 августа — очередной вечер Н. Гумилева. В конце года решает возродить «Цех поэтов».

1921

В феврале Гумилев избран руководителем Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов. Вышел «Новый Гиперборей» — рукописный журнал «Цеха поэтов». 23 февраля избран почетным председателем «Звучащей раковины». 30 марта — творческий вечер в Бежецке. 20 мая привозит жену и дочь в Петроград. В конце мая принимает приглашение В. Павлова совершить поездку в Севастополь. В июне издает сборник «Шатер» — последнюю книгу, которую довелось держать в руках. 2 июля Гумилев возвращается в Москву, выступает в «Кафе поэтов». 9 июля — последняя встреча с А. А. Ахматовой. 3 августа — арест по подозрению в заговоре. 24 августа — постановление Петроградской Губчека о расстреле участников «Таганцевского заговора», в том числе и Гумилева. 1 сентября — сообщение в «Петроградской правде» о заговоре и его участниках; Гумилев значится тридцатым в списке, в котором всего — 61 фамилия.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая. Корни	3
Глава вторая. Детство, отрочество, юность	6
Глава третья. «Путь конквистадоров» и после «Пути»	17
Глава четвертая. «Стремлюсь забыть, Что тайна некрасива»	33
Глава пятая. Свое небо	56
Глава шестая. «Золотое сердце России Мерно бьется в груди моей».	77
Глава седьмая. Под синей звездой	104
Глава восьмая. «Испепеляющие годы!»	114
Глава девятая. Жертва и «судьи»	143
От автора	152
Николай Гумилев. Краткая хроника	154

Учебное издание

Панкеев Иван Алексеевич

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ

Зав. редакцией *В. П. Журавлёв*

Редактор *Л. А. Белова*

Художественный редактор *А. П. Присекина*

Технический редактор *В. В. Ивлиева*

Корректор *Мосякина Г. И.*

ИБ № 16773

Набор и верстка выполнены в издательстве «Просвещение»
на компьютерной технике с использованием
редакционно-издательской системы *Wave4™ Bestinfo, Inc.*;
гарнитуры из библиотеки цифровых шрифтов *ParaType™*.

Лицензия ЛР № 010001 от 10.10.91. Подписано в печать 17.03.95.
Формат 60×90^{1/16}. Бумага типографская № 2. Гарнитура Таймс.

Печать высокая. Усл. печ. л. 8,40 + 0,84 вкл. Усл. кр.-отт. 9,45.
Уч.-изд. л. 8,73 + 0,70 вкл. Тираж 35 000 экз. Заказ № 1053.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Комитета
Российской Федерации по печати.
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова.
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

2570

